Гражданин Очер
Юрий Тынянов

Юрий Тынянов

ГРАЖДАНИН ОЧЕР



Юрий Тынянов





Юрий Тынянов



Юрий Тынянов

ГРАЖДАНИН ОЧЕР

Уральское наследие

*Пермское
книжное
издательство
1990*

ББК 84Р7—4
Т 93

Составление, вступительный очерк,
подготовка текста и комментарии
А. Г. НИКИТИНА

Художник *О. Д. КОРОВИН*

Т $\frac{4804010200-26}{M152(03)-90}$ 59—90

ISBN 5-7625-0205-8

Уральское наследие Юрия Тынянова, или История пациента эвакогоспиталя № 3149

Я перечитал как-то старый, изданный еще в Перми военной поры роман Семена Розенфельда «Доктор Сергеев» и задумался. Речь в нем шла о тыловом госпитале, где раненый военврач встретился с лечившимся там писателем. Странно, что имя писателя не названо, но сказано: он автор книг о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине. Этим писателем мог быть только Юрий Тынянов.

Как же знаменитый писатель, ученый-пушкинист оказался на Урале в военном госпитале?

I

В город на Каме Юрий Николаевич Тынянов приехал из осажденного фашистами Ленинграда очень больным. В историко-биографической литературе об этом труд-

ном периоде жизни писателя говорилось довольно глухо, общими словами. Но вот в шестидесятые годы в Пермь, где готовился к постановке балет «Спартак», прилетел композитор Арам Ильич Хачатурян. Гостя хотели поселить в тогда еще новой гостинице «Прикамье», а он сказал:

— Хочу остановиться в семиэтажке!

Свою привязанность к старой пермской гостинице «Центральная» композитор объяснил так:

— В семиэтажке я жил в войну. Понимаете, что это такое? Там встречался и прощался с друзьями. Со многими прощался навсегда...

Арам Ильич задумчиво ходил по Камской набережной и рассказывал нам, молодым литераторам, о годах войны, об актерах и писателях, вырвавшихся из блокадного Ленинграда. Среди них были балерина Галина Уланова, композитор Мариан Коваль, писатели Михаил Слонимский, Семен Розенфельд, Соколов-Микитов, Юрий Тынянов. Приехал пушкинист в Пермь настолько больным, что еле передвигался на костылях, а потом и совсем слег.

Лицо Хачатуряна стало грустным, но вскоре снова оживилось, и он произнес:

— Представьте себе, совершенно больной Тынянов не расставался с пером. А когда рука уже не могла держать перо, он диктовал, спешил рассказать о Пушкине и его современниках все, что знал сам. Про подвиги на фронте тогда говорили каждый день. Война шла жестокая, бойцы стояли насмерть. И потому поступок Тынянова подвигом еще не называли. Теперь осознаю, что это тоже был подвиг, писательский подвиг талантливого пушкиниста, создавшего в Перми свои последние произведения...

К этим произведениям принадлежит и рассказ «Гражданин Очер». Сюжет его был избран Тыняновым не случайно. С одной стороны, его подсказала война, с другой — история Урала, связанная с судьбами пушкинских знакомцев, персонажами его поэм и стихотворений, причем иногда умышленно не названными или зашифрованными *.

---

* Подробнее об этом в кн.: Никитин А. Г. Пушкин и Урал: По следам находок и утрат.— Пермь, 1984. *(Прим. ред.).*

Чтобы писать о Пушкине, Юрий Тынянов «читал его жизнь по его стихам». Один черновой отрывок привлек особое внимание писателя:

О страх, о горькое мгновенье,
О... когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

Пушкин не назвал имени своего героя. Почему? А главное — кто он? Герой древности, вместе с сыном сражавшийся на поле брани? Нет, размышлял Тынянов, эти стихи были слишком живы, в них чувствовалась близость и временная, и пространственная к самому поэту. Скорее всего они были людьми одной эпохи, пушкинской эпохи.

И Тынянов разгадал пропущенное Пушкиным имя — имя Павла Строганова. Это был сын графа А. С. Строганова, президента Российской Академии художеств, наследник строгановских владений на Урале. «Домашним учителем» Павла был Жильбер Ромм, французский философ и матема-

тик, будущий революционер. В доме графа воспитывался и его побочный сын — от крепостной — Андрей Воронихин, впоследствии известный архитектор.

Среди бумаг краеведческого музея в пермском поселке Ильинском удалось найти свидетельство: Жильбер Ромм с Павлом Строгановым и Андреем Воронихиным посетили это селение в 1784 году. В том же году, наверное, они побывали и в строгановском заводском селе Очер, где выплавлялось железо.

Потом все трое оказались в Париже. В бурные дни Великой французской революции Ромм стал членом Конвента. Молодой Строганов посещал якобинский народный клуб «Друзья закона», даже стал его секретарем. Однажды Павел записал речь Робеспьера и дал оратору расписаться под ней. Тот поставил свой автограф. Павел скрепил его своей новой подписью: «Очер». Под именем Очера знали Павла Строганова в Париже.

«Отчего он назвал себя Очером? — спрашивал Тынянов.— Может быть, оттого, что внезапно вспомнил в этом длинном четы-

рехугольном зале очерские здания, где делали железо? Или потому, что был ранний час, как тот, когда они приехали в Очер? Или просто в такой час нужно быть с родным человеком?.. И он взял для этого не имя человека, а имя места — имя близкое, надежное. В этом месте делали железо. И он стал гражданином Очером».

Юрий Тынянов приводит диалог между Павлом Строгановым и Роммом, автором знаменитого республиканского календаря:

«— Гражданин Очер, знаете ли вы, что новый календарь мною закончен? Вы помните, как в Очере вы сказали мне, что дышите впервые? Что, вы ранее не понимали, что значит дыхание?

— Я помню это, гражданин Ромм.

— Таково первое наслаждение свободой и родиной, гражданин Очер. Новый календарь уже был тогда мною подготовлен в вашем доме наполовину...»

Лишь с помощью русского посла смог вернуть А. С. Строганов своего сына Павла из революционного Парижа. Спустя годы Павел — зять княгини Н. П. Голицыной, пушкинской «пиковой дамы»,— стал

на какое-то время очень близким «молодым другом» Александра I. Воспитанник французского философа отличался горячностью суждений, предлагал государю пренебречь дворянами и опереться на крестьян, даровав им свободу. В 1805 году у питомца Ромма началась походная жизнь. Волонтером он явился в русскую армию, начавшую войну против диктатора Наполеона. Гражданин Очер сражался на поле Бородина, участвовал в Лейпцигской битве народов, был при покорении Парижа.

Пушкин еще учился в лицее, когда узнал о поразившем тогда многих трагическом происшествии во время битвы под Краоном. Российскими войсками командовал Павел Строганов. Русских было втрое меньше, чем французов, но они сражались отчаянно, победа была уже совсем близка. И в это время был убит девятнадцатилетний сын Павла Строганова Александр. Отец был настолько потрясен, что не мог продолжать командовать войсками. Командование перешло к графу Воронцову, будущему врагу Пушкина. Воронцову и досталась не заслуженная им слава.

Воинская дружба отца и сына, героическая смерть юноши сильно взволновали воображение юного Пушкина. Потом, живя уже в Одессе, он написал стихи, которые должны были войти, по его замыслу, в роман «Евгений Онегин». Однако, не желая, наверное, обострять и без того очень сложные отношения со своим «покровителем» Воронцовым, он пропустил в черновике имя подлинного героя...

Зато мнимый герой был широко известен. Историки писали почти одно и то же: «В кампанию 1814 г. Воронцов при Краоне блистательно выдержал сражение против самого Наполеона»*. Потом Воронцов брал... Париж, был назначен командиром всего оккупационного русского корпуса, занимавшего Францию до 1818 года. Но была, как видим, и другая правда, которую знал Пушкин и которую распознал Тынянов. Среди черновиков рассказа «Гражданин Очер» прочел я строки, не вошедшие в основной текст. Эти строки носят скорее

---

* Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.— Спб., 1892, т. 13, с. 222.

характер тыняновской ремарки: «Пушкин не был другом Воронцова. Славу Краона, которая была заслужена Строгановым, он не хотел уступать Воронцову» *.

Рассказ «Гражданин Очер» Юрий Тынянов писал в Перми по памяти. Обширные материалы и выписки, собранные им для задуманной еще ранее пьесы о Павле Строганове «Овернский мул, или Золотой напиток», писателю пришлось оставить в Ленинграде. Одни страницы рассказа написаны слабеющей рукой писателя, другие — рукой жены Е. А. Тыняновой, которой он диктовал. Война и приезд на Урал, где бывал Павел Строганов, невольно заставили Тынянова вспомнить все, что он знал об этой незаурядной личности. Его привлекала фигура генерала Строганова, русского патриота, героя Отечественной войны 1812 года. И к тому же — героя незавершенного пушкинского стихотворения.

---

* Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), ф. 2224, оп. 1, д. 53, л. 21. Публикуется впервые.

II

Юрий Тынянов изучал жизнь Пушкина прежде всего по его стихам. А мне захотелось изучить пермские страницы творчества пушкиниста Тынянова, нелегкие последние дни его жизни. И я допытывался у приехавшего в Пермь Арама Ильича Хачатуряна, который в военную пору тоже работал здесь, сочинял музыку для своего балета «Гаянэ»:

— Где же именно жил Тынянов в Перми?

— Тоже в гостинице-семиэтажке. Кажется, на шестом этаже. Верхние этажи считались самыми удобными, тихими.

Вместе с композитором мы поднялись на шестой этаж гостиницы. Арам Ильич останавливался то у одной двери, то у другой. Он хотел припомнить тот номер, где писатель жил и диктовал «Гражданина Очера». Но память не отзывалась, она не поддавалась усилиям его воли. И, поняв наконец, что из этого ничего не выйдет, композитор сказал:

— Спросите лучше у тех, кто лечил здесь писателя. У них, должно быть, все подробно записано...

Но кто конкретно лечил Тынянова на Урале? Ответить на вопрос оказалось не просто. Лечился писатель в одном из военных госпиталей, а их в Перми тогда было немало. Я написал письмо в Ленинград, в архив Военно-медицинского музея. Ответ не приходил долго. Наконец получаю конверт с просьбой заполнить бланк официального запроса, в котором десятки разных вопросов: когда призван на службу, где ранен или контужен, адрес госпиталя и каков его номер?

Такая форма, конечно, нужна ветеранам войны для оформления пенсии. Но мне-то нужно совсем другое! Тынянов военным не был, ранений и контузий не имел. И номер госпиталя мне неизвестен. Объяснил все снова терпеливо и подробно, отправил опять письмо в Ленинград, а ответа все нет и нет. Лучше всего, конечно, самому туда наведаться: сходить в архив, а заодно — взглянуть на траурную урну павшего под Краоном пушкинского героя, если только она сохранилась.

И вот я в городе на Неве. В тихом Лазаретном переулке нахожу уникальный в

своем роде архив... милосердия. Кажется, здесь собрались в свидетели вся кровь и боль минувшей войны. И одновременно — мужество, беспредельное мужество! Все военные госпитали, фронтовые и тыловые, передали сюда свои документы. Только историй болезни — более 20 миллионов. И это далеко не все, это лишь то, что сохранилось. Многие документы погибли при бомбежках, сгорели в огне войны.

Но идут и идут в Лазаретный переулок вереницы людей. Словно эхо милосердия зовет их сюда. Одни просят за брата, другие — за отца. Я пришел просить за пушкиниста Тынянова.

Заведующий приемной в музейном архиве врач-статистик Владимир Никуленко и инструктор Анна Соловьева, которую так и хотелось почему-то назвать «сестрой милосердия», внимательно выслушали меня.

— Просим прощения,— сказали они.— Не успеваем, особенно, когда в запросах есть пустые, не заполненные графы. Как, например, у вас... Давайте искать вместе!

Листаем указатели с адресами бывших пермских госпиталей. Какой же из них?

Выручила догадка. Тынянова врачевали нейрохирурги. Вряд ли нейрохирурги были во всех пермских госпиталях. Так и есть! По документам оказалось, что подобные операции делались лишь в эвакогоспитале № 3149 на улице Луначарского. Выходит, в здании нынешней областной больницы.

— Приходите завтра,— сказали архивариусы.— Может быть, и найдем теперь тыняновскую историю.

Тыняновская история... Она не одинока, в ней — частица истории Пушкина, наших знаний о нем. С этими мыслями я подошел к Александро-Невской лавре. За воротами слева — некрополь XVIII века, самый старый и почетный в Петербурге. И уж если где нужно было торжественно похоронить героя Краона, то только здесь.

В дальнем углу исторического некрополя нахожу, правда, не урну, а поросший мхом саркофаг из черного камня. Две узкие ступени ведут к нему. Поднимаюсь и вижу еле различимую надпись:

«Граф Павел Александрович Строганов... родившийся во Франции 1774 года... скончавшийся близ Копенгагена 10 июня 1817

года. И единственный сын его, граф Александр Павлович Строганов, христолюбивый воин, положивший жизнь за свое отечество во Франции под Краоном 23 февраля 1814 года в кровопролитнейшей битве между 15-ю тысячами российских войск, которыми предводительствовал его родитель, и с лишком 50-ти тысячною неприятельскою армиею под личным начальством Наполеона Бонапарте».

И павший в бою герой Краона Александр, и умерший на корабле во время путешествия в Англию «якобинец» Павел похоронены под одним камнем. Вместе сражались в бою, вместе приняла их родная земля. А выбитая на камне эпитафия, как печальная повесть, рассказывала путникам о делах давно минувших лет. Рассказывала подробно и точно. Эту повесть на камне мог прочесть Пушкин, эту же надпись, наверное, читал здесь и Юрий Тынянов. И оба не прошли равнодушно мимо. И то, что волновало в сей истории одного, взволновало век спустя и другого...

Юрий Тынянов не был воином, в сражениях не участвовал. Но я снова шел к Ла-

заретному переулку, чтобы отыскать имя писателя среди миллионов имен воинов, сражавшихся за Отечество. И это тоже казалось мне символическим. Нет, недаром композитор Хачатурян назвал писательский поступок пушкиниста Тынянова подвигом.

Извлеченная из архивных недр тыняновская история, а точнее сказать, история болезни пациента пермского эвакогоспиталя № 3149 Юрия Николаевича Тынянова, уже ждала меня. На ее почти выцветшей первой странице читаю: «В госпиталь поступил 14 августа 1942 года. Домашний адрес — гостиница «Центральная», комната № 604». Значит, А. И. Хачатурян правильно указал этаж, а теперь известен и номер, выходящий окнами на Каму, на бесконечные заречные леса. Именно в этом номере звучал замедленный голос Тынянова, именно в нем не раз повторял он пушкинские строки, которые обрели имя героя 1812 года, дотоле сокрытое от читателей.

О страх, о горькое мгновенье,
О Строганов, когда твой сын...

Мысленно повторяя эти пушкинские сти-

хи, я пробежал глазами строчки другой истории, говорившие о судьбе не менее печальной и героической. Архивный документ открывал передо мной страшную тайну, которая тогда была известна, пожалуй, лишь ближайшим друзьям Тынянова: «Начало основного заболевания относится к 1927 году, когда у больного появилось периодическое двоение в глазах, затем стала развиваться слабость ног, расстройство почерка». Наверное, мало кто из читателей в точности знал, зачем Тынянов ездил в 1927 году в Берлин, в 1930 году — в Париж.

Человек, умевший тайное делать явным, казалось, явное сделал тайным. Он не хотел верить своей трагедии, хотя хорошо знал диагноз болезни и то, что рассеянный склероз мозга везде — и у нас в стране, и за границей — считался неизлечимым. Наделенный талантом, богатый знаниями, писатель стремился победить тяжелый недуг силою своей воли, мужеством своего сердца. Тынянов забывался над рукописями, его спасителями становились то Кюхельбекер, то Грибоедов, то Пушкин. Бессмертный Пушкин!

III

На Урале к пушкинским интересам Тынянова добавились не только «гражданин Очер» — Павел Строганов, но и другие герои 1812 года. Об одном из них, Дорохове, Тынянов стал писать, пожалуй, сразу же после начала войны. При эвакуации из Ленинграда, остановившись ненадолго в Ярославле у своего старшего брата, Льва Николаевича, вскоре ушедшего на войну, Тынянов осенью 1941 года напечатал там в областной газете краткий набросок будущего рассказа «Генерал Дорохов». Назывался он тогда еще так: «Дорохов. Эпизод из Отечественной войны 1812 года» *.

Юрию Тынянову предстояла в Перми большая работа, чтобы превратить суховатый набросок в страстный рассказ о смысле жизни и бессмертии героя, умирающего за отечество. Писателя привлекла, в частности, и такая черта биографии Дорохова — изучение и использование им в бою «метода неожиданности». Русские офицеры, оказывается, широко изучали и победонос-

* Северный рабочий, 1941, 1 нояб.

но применяли этот метод еще со времен Суворова. Неожиданность становилась познанной закономерностью. И рассказ, став в конце концов своеобразным сплавом документального и художественного повествования, военной науки и гражданственных чувств, учил современников быть находчивыми и быстрыми, побеждать врага в любых условиях.

Среди сохранившихся вариантов этого рассказа, выписок из документов и военных мемуаров мне удалось обнаружить и прочесть набросанные карандашом на черновике торопливые рукописные строки Юрия Тынянова: «1. Дорохов. 2. Строганов. 3. Кульнев» *. Это значит, что у Тынянова был составлен план. Писатель хотел создать целый цикл рассказов о героях двенадцатого года. И этот план, если считать и оставшийся незавершенным рассказ «Гражданин Очер», был почти целиком осуществлен в Перми.

Третьим рассказом этого цикла стал патриотический рассказ «Красная Шапка»,

---

* ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 51, л. 4. Публикуется впервые.

посвященный суворовскому питомцу, генералу Якову Петровичу Кульневу. Еще воевавший вместе с ним Денис Давыдов призывал музу рассказать об этом бесстрашном герое:

Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

В стихотворении «Певец во стане русских воинов» его прославил Василий Жуковский:

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?

Генерала Кульнева, как и Павла Строганова, тоже можно считать персонажем пушкинских произведений. Великий поэт упоминает о нем в повести «Дубровский» как о самобытном народном герое, портрет которого был хорошо известен россиянам той поры.

Юрий Тынянов находит свой «маневр» к раскрытию незаурядного характера Кульнева. Точно взвешенные, внешне сдержанные краски тыняновского письма отражают не только «причуды Кульнева и гром его

побед». Тынянов постигает внутренний мир героя. И под пером художника оживают скупые документы, ткань рассказа передает глубинные патриотические чувства и лирические переживания. «Пламень брани», о котором охотнее всего писали военные мемуаристы, Юрий Тынянов превращает в пламень сыновней любви к отечеству — неиссякаемый источник бесстрашия и воинских подвигов.

Странное дело, но до сих пор уральский цикл рассказов Юрия Тынянова, впрочем, как и каждый из них в отдельности, остаются библиографической редкостью. По данным Всесоюзной книжной палаты, они ни разу не входили в собрания сочинений писателя. Рассказы «Генерал Дорохов» (не считая набросков) и «Красная Шапка» впервые были опубликованы в 1942 году в пермском литературно-художественном альманахе «Прикамье», выходившем мизерным тиражом. Лишь спустя год рассказ о Дорохове появился в московском журнале «Знамя». А рассказ «Гражданин Очер»? Один из его черновых вариантов был впервые опубликован только в 1966 году. Сло-

вом, все эти рассказы остаются до сих пор малоизвестными *.

Но уральское литературное наследие Юрия Тынянова последних лет этим далеко не исчерпывается, ибо он не прекращал в Перми работать над своим самым большим романом «Пушкин», начатым еще весною 1933 года. К этому роману логически сходились все его исследовательские линии и писательские устремления. Пушкина он изучал и думал о нем, можно сказать, с детства.

«Пушкина мне подарили в день рождения,— писал Тынянов,— когда стукнуло восемь лет». Вся жизнь Тынянова прошла под знаком Пушкина и его поэзии. До войны были закончены две части романа, восторженно встреченные читателями. Писатель не отделял жизнь своего героя от его творчества, а творчество — от истории страны. В тяжелейших условиях эвакуации в Перми Тынянов урывками продолжал

---

* При публикации рассказов в настоящем сборнике их тексты сверены с авторскими рукописями, внесены исправления и дополнения. Наиболее существенные из них указаны в комментарии.

писать часть романа о Пушкине, по праву считая это делом жизни, мало того, исполнением главного гражданского долга.

Работа сильно осложнялась не только болезнью, неустроенностью гостиничного, а потом госпитального быта, но и тем, что весь арсенал пушкинских материалов, кропотливо собираемых долгие годы, пришлось оставить в Ленинграде. Как быть, как писать в таких условиях? Помогли два важных обстоятельства, значение которых он по-настоящему оценил только на Урале: глубокие знания ученого-пушкиниста и своеобразие творческой манеры писателя-новатора. «Там, где кончается документ, там я начинаю».

Война устроила поистине суровую проверку тыняновскому методу и, несмотря ни на что, подтвердила его плодотворность. Оказавшись действительно без документов, Юрий Николаевич сумел продолжить работу над романом о Пушкине, создать новые рассказы из его эпохи. Отразилось ли это на художественной ткани повествования? Да, есть разница в частоте документальных деталей, в обстоятельности их из-

ложений между двумя первыми и третьей частями романа «Пушкин». Но это, думается, не снижает общего уровня художественного воздействия на читателя. Оно даже усиливается порой из-за того, что более тщательно проработаны главные, оставшиеся в памяти писателя детали и события из истории страстной жизни гения. Строки становятся точнее и динамичнее, они несут в себе глубокое философское осмысление происходящего.

И тут необходимо вспомнить, чем было вызвано у Тынянова увлечение беллетристикой. Главным образом — недовольством историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, а значит, и развитие русской литературы. Юрий Тынянов писал, «что художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а бо́льшим, более близким и кровным пониманием людей и событий, бо́льшим волнением о них. Никогда писатель не выдумывает ничего более прекрасного и сильного, чем правда» *. Ска-

* Юрий Тынянов. Писатель и ученый: Воспоминания, размышления, встречи.— М.: Сов. пис., 1966, с. 20.

зано это было однажды, а подтверждено трижды: романами о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине.

«Пушкин» давался Тынянову особенно радостно и особенно тяжело. Роман со всей огромностью его героя не был завершен — на это не хватило жизни. Но зато, по словам В. Шкловского, тыняновские книги прошли в жизнь, как проходят гормоны через кровь.

В последние годы роман Тынянова «Пушкин» переиздавался не раз, поэтому мы ограничились здесь публикацией отрывка из его третьей части, подготовленного писателем в Перми и напечатанного при его жизни журналом «Огонек» в 1943 году (№ 25—26). Примерно к этому времени относится сообщение пермской газеты «Звезда» о программе литературного вечера. В частности, о Тынянове в ней говорилось, что «отрывок из новой, неизданной части его романа «Пушкин» прочтет засл. арт. А. И. Залесский» *. Речь идет, наверное, об одном и том же отрывке под названием «Прощание». В нем рассказывалось о

* Звезда, 1943, 11 апр.

прощании поэта с Петербургом и своими друзьями, о предстоящем изгнании *. А Тынянову в те весенние дни сорок третьего года еще предстояло прощаться с Пермью, с уральцами фронтовой поры...

IV

Как же жил и работал Юрий Тынянов в Перми, как писал? Свидетелями титанического труда были пермские врачи, не отходившие в те дни от постели больного пушкиниста. Имена их мне подсказал ар-

---

* Помимо названных в очерке произведений Ю. Н. Тынянова, к уральскому литературному наследию писателя в той или иной мере можно отнести ряд других, чаще незавершенных, очерков и статей военной поры. Они сохранились среди черновиков и набросков его, так сказать, текущего пермского архива. Прежде всего это исследование «Сюжет «Горе от ума», опубликованное в «Литературном наследстве» (1946, № 47—48); черновая рукопись статьи «Грибоедов и Крылов»; варианты обозрения «Пушкин и герои Отечественной войны»; наброски статей «Литература — фронту» и «К 25-й годовщине Красной Армии»; заметки об А. М. Горьком и другие (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 97, 99, 100, 101, 102, 103).

хив эвакогоспиталя № 3149. Госпиталь возглавлял военврач I ранга профессор В. К. Модестов. Консультировали и лечили профессора А. Л. Фенелонов, Д. С. Футеров, П. А. Ясницкий, доцент С. П. Швецов.

Троих я уже не застал в живых, а вот с Фенелоновым встретиться удалось: он все еще преподавал в Пермском медицинском институте. Договорились о встрече в том самом здании на улице Луначарского, где когда-то лечился Юрий Тынянов. Вместе с профессором поднялись на второй этаж, открыли дверь в небольшой кабинет.

Аркадий Лаврович Фенелонов сказал:

— Здесь Юрий Тынянов провел полгода своей жизни, здесь он писал роман о Пушкине, сочинял рассказы...

Седой профессор стоял посреди кабинета, потупив взгляд. Он вспоминал те нелегкие дни, когда были переполнены ранеными все коридоры госпиталя. Указал профессор и то место, где стоял его рабочий стол, рядом с постелью писателя.

— Пожалуй, еще никогда не казался мне настолько постылым и никчемным мой

письменный стол, как тогда,— сказал Фенелонов.— Я придвинул стол к изголовью писателя. Ему он был нужнее...

— И ему разрешили работать?

— Сначала мы запретили всякую умственную нагрузку. Но это оказалось еще пагубнее. Тынянов стал острее переживать свое положение. Работа, наоборот, давала возможность отвлечься, забыться. И мы, проведя врачебный консилиум, снова разрешили ему трудиться. В длинные осенние ночи он обдумывал очередные страницы романа, а утром заносил их на бумагу или диктовал кому-либо из посещавших его друзей. Потом забывался сном. До обеда старались реже заходить в этот кабинет.

— И вы читали тогда тыняновские страницы?

— Да, приходилось... Помню, однажды после нескольких проведенных подряд операций я зашел к Юрию Николаевичу и зачитался рукописью, в которой рассказывалось о юности Пушкина. Читал с упоением. Далекий лицей, опустошенный фашистами, прекрасные парки и юный Пушкин

со своими первыми стихами вставали передо мной то как наяву, то как сквозь сон. Страницы были написаны еще неровно, не были отделаны до конца. Разборчивые, ясные по мысли образные строки чередовались с трудно читаемыми — и по почерку, и по логике. Сказывалась болезнь. Человек жил, а клетки мозга незаметно для него умирали. И как радовались мы, когда на крупно исписанных листах мелькали яркие образы прежнего Тынянова, которого я знал и любил еще по первым книгам...

— А разве, Аркадий Лаврович, нельзя было помочь Тынянову? Скажем, сделать операцию?

— В том все и дело, что мы ничем не могли помочь. Болезнь его считалась неизлечимой не только в 1927 году, когда обнаружили у писателя ее зловещие признаки, но и в 1942 году, когда он стал пациентом нашего эвакогоспиталя. Мы с коллегой, профессором Футеровым, делали тогда сложные операции на головном мозге. Потому секретарь Пермского горисполкома Людмила Сергеевна Римская и обратилась к нам с просьбой принять писателя под

свою опеку. Обследования показали, что никакая операция Тынянову не поможет. Мы старались всячески поддержать его, облегчить страдания. Но почему-то получалось так, что чаще поддерживал он нас, вселяя оптимизм и веру в человеческий разум. Мы удивлялись его душевной стойкости. Тынянова спасали не мы, врачи, а Пушкин и его герои...

Весной сорок третьего года Юрия Тынянова перевели в одну из московских клиник, а в декабре писатель скончался. Ему не было и пятидесяти лет. В пермской газете «Звезда» разыскал я некролог о Юрии Тынянове, подписанный его друзьями.

«Тягостная весть: 20 декабря в Москве после тяжелой болезни скончался Юрий Николаевич Тынянов. Умер один из лучших советских писателей нашей страны, создатель «Кюхли», «Смерти Вазир-Мухтара» и «Пушкина». Имя его окружено любовью миллионов разноязыких читателей Советского Союза. Ушел из жизни человек огромной гуманитарной культуры, блестящий историк российской литературы, лучший сердцевед Пушкина и Грибоедова и

великолепный мастер, переводчик Генриха Гейне. Угас острый ум философа, крупный талант стилиста-новатора.

Пути войны привели Юрия Тынянова из Ленинграда в город Пермь. И здесь, уже надломленный болезнью и прикованный к больничной койке, Юрий Николаевич диктует друзьям последний свой труд — третью часть романа «Пушкин». Так мысль и страсть писателя творят не только ценнейшее произведение о гении величайшего нашего национального поэта, но и совершают великий и благороднейший подвиг труда на благо поколений русского народа и его литературы. Наша боль и печаль — верных друзей и современников замечательного писателя — остра и священна. Память о нем и слава его неугасимы» *.

Подписали этот некролог восемнадцать человек, в основном те, кто знал Юрия Николаевича Тынянова по трудным уральским месяцам его жизни. Среди них были Михаил Козаков, проф. К. Державин, И. Соколов-Микитов, Елиз. Полонская, Л. Римская,

* Звезда, 1943, 29 дек.

И. Карнаухова, Сем. Розенфельд, Т. Вечеслова, И. Гринберг, Б. Михайлов, М. Комиссарова, И. Меттер, З. Никитина и другие.

Показал я некролог профессору А. Фенелонову. Он прочел и сказал:

— В конце сорок третьего года я выезжал на фронт для консультирования врачей, этого некролога не видел. Но многих, кто подписался под ним, хорошо помню. Про Римскую я уже говорил, она была потом директором Пермского книжного издательства. Навещали Тынянова эвакуированные ленинградские писатели Соколов-Микитов, Михаил Козаков и его жена Зоя Никитина, артистка Татьяна Вечеслова, пермский поэт Борис Михайлов и «серапионова сестра» Елизавета Полонская*. А вот Семен Розенфельд, как вы уже знаете, даже роман написал, в котором ваш покорный слуга выведен под именем профессора Харитонова...

---

* В двадцатые годы Е. Г. Полонская входила в литературную группу «Серапионовы братья». В Перми она написала сборник военных стихов «Камская тетрадь», изданный в 1945 году.

Фенелонов показал мне старое, еще пермское издание книги «Доктор Сергеев» с автографом автора. В книге были отмечены страницы, где рассказывалось, как военврач Сергеев лечился в тыловом госпитале, как главный хирург профессор Харитонов сделал ему сложную операцию и спас от инвалидности. Там же Сергеев встретился с больным писателем. Имя его не названо, но сказано, что он — автор книг о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине. Это был, конечно, Юрий Тынянов.

Мысль и страсть Тынянова помогли ему в неимоверно тяжелых условиях войны совершить благородный подвиг труда на благо русского народа и его литературы.

И последние уральские страницы Юрия Тынянова, хотя и в разное время, стали достоянием духовного арсенала нашего отечества. Можно сказать: писатель творил, как и мечтал,— до конца. Описывая прощание поэта с юностью, Тынянов словно описывал и свое прощание с друзьями: «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стих».



ГРАЖДАНИН ОЧЕР

1

Для того чтобы писать о Пушкине, я читал его жизнь по его стихам. Один черновой отрывок поразил меня:

О страх, о горькое мгновенье,
О... когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

И больше ничего.

Так печаталось во всех изданиях.

Кто это?

Отец и сын, вместе сражающиеся. И горькое мгновенье, которое поразило поэта. О ком, о чем эти стихи? Быть может, это о древних героях, о богатырях?

И чужая слава, другой богатырь — враждебный? Нет, эти стихи были слишком живы, в них чувствовалась близость временная или пространственная к поэту. Отец и сын были где-то близко.

И, изучая богатырей других — богатырей двенадцатого года, я наконец с полною ясностью обнаружил имя, еще пропускавшееся во всех изданиях. Я писал тогда о лицейских годах Пушкина. Имя, которое еще не было разгадано,— это было непрочтенное имя Строганова.

О страх, о горькое мгновенье,
О Строганов, когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

Строганова хоронили с воинскими почестями во время

окончания Пушкиным лицея.

А чужая слава, к которой Пушкин относился недружелюбно, был нелюбимый Пушкиным Воронцов. Горькое мгновенье — был трагический для Строганова конец победоносного сражения, которым он командовал при далеком Краоне.

Помня стихи Пушкина, я посмотрел портрет Строганова. Он был удивительно красив, с тонким бледным лицом. Я стал читать о нем. «Дней Александровых прекрасное начало» — быть может, труднее всего для изучения. Век еще не нашел себя. Лицо Строганова было лицом этих дней. Это время нашло себя. Этот бледный человек умел ненавидеть.

Ненависть его к Наполеону сделала его военным.

2

Мы читаем биографии людей. Мы любим их читать. Существуют ненаписанные биографии мест. Места связаны с людьми. Это связь крепкая, нерушимая. Об этом лучше всех ученых написал Лермонтов. В «Дарах Терека» — открытие. Река сорная, дикая, бурная любит девушку. Лермонтов писал не о любви отвлеченной. Так, именно так любят родину — ее любят как живую. Недаром места и люди меняются именами.

Одно место Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в конце XVIII века. Он назвался так в Париже.

Французская революция слышала уральское имя, название. А потом — яростная борьба с

Наполеоном, вторгшимся в русскую землю.

Быть может, одно из самых своеобычных русских мест — уральское место **Очер.** Этим именем назвался этот человек. Это имя слышали французские якобинцы и русские генералы. Запомним это название, запомним имя: **Очер.**

У старика Строганова был дурной характер.

Он взял себе дурную привычку громко ворчать на императрицу за картами. Однажды, когда он играл с ней в экартэ и императрица пошла не так, как нужно, он даже прикрикнул. У императрицы зазвонил колоколец. Прибежали фрейлины, и заглянул Храповицкий, секретарь.

Императрица сказала, указывая на Строганова:

— Он кричит на меня. Как бы ему не вздумалось драться.

И она перешла из «табакерки» в янтарную комнату.

Когда-то, при Алексее Михайловиче, Строгановы судились по особым законам, относящимся только до них.

Екатерина со своим женским чутьем с ним не ссорилась. Она звала его кумом.

— Я с кумом боюсь одна быть. Он горяч...

Он сильно тягался с богатым монастырем из-за Усолья и, когда часть соляных богатств у него все же оттягали, перестал почитать церковную власть и стал богохулом.

— Святые отцы, соленые уши,— говорил он.

Он там не бывал затем, что и здесь солоно. Вообще же он жил как хотел в своем дворце, который ему построил Варфоломей Растрелли и которым он был доволен. Здесь он воспитывал сына Павла и старался воспитать его так, чтоб никто не сказал, что он рос без матери.

Александр Сергеевич Строганов, знаменитый своим упорством, выбирал для своего сына-наследника учителя. Дело было важное, но Строганов сделал его просто невозможным. Специалиста по истории он отпустил, скорее всего, по непонятным причинам. А потом причина выяснилась. Историк ничего не сказал, излагая курс, о том, что он скажет Павлу об Иване IV. О Ермаке просто промолчал. Может, ничего не знал о нем?

Ивана IV Строганов считал величайшим государем, решившим судьбу его рода, а Ермак — был славою его рода. А. С. Строганов ни о чем другом с учителем не говорил под конец.

Помочь ему брался Ромм... Поэтому он нанял к сыну воспитателем ученого француза Ромма. Он не хотел вмешиваться в воспитание, не считая это полезным, а также потому, что был занят другим.

Как бы то ни было, сын Павел не был предоставлен самому себе. Ученый Ромм, большеголовый, малого роста, был действительно воспитатель суровый и крепкий. Побившись об заклад, что будет читать по-китайски через неделю,— выиграл.

Воспитывался вместе с сыном еще один мальчик, Андрей Во-

ронихин, мальчик строгий, молчаливый. Как он появился в этом доме, никому не было известно, а Ромм не спрашивал. Старик Строганов сказал Ромму, что он предназначил ему строить дома, потому что, кроме Растрелли, он в Петербурге по вкусу строителей домов не встречал. Выросши, он ему построит другой дом.

Однажды появилась в доме женщина в темном синем кафтане, неторопливая. Звали ее Акулиной. Она ни о чем ни с кем не говорила. Видно было, что раньше она здесь бывала или даже жила, потому что комнаты знала, а на антресоли к Павлу и Андрею восходила легко и никого не спрашивая. Провела она здесь целый день. А когда собралась уходить, долго

смотрела на Андрея широко раскрытыми глазами, и глаза эти вдруг заплыли слезами. Крупные слезы падали, а лицо было неподвижно.

И она ушла так же тихо, как пришла. Только перед уходом вдруг решилась: обняла Андрея, коснулась неслышно. И видно было, что не упустила ни одного его движения, ни одного жеста — все унесла с собою. А уходя, вдруг сунула Андрею из руки в руку пряник. И улыбнулась. Ви́дно, так она улыбалась давно.

И, не обернувшись, ушла.

Старик Строганов, как всегда, ничего не говорил ни о матери Павла, ни о матери Андрея Воронихина.

— Eslavage, рабство,— спокойно сказал Ромм.

Павел потупился. Ромм увидел, как он побледнел.

Кто была Акулина, Ромм не спрашивал. Кто был отец Андрея и почему он (сам) здесь, нечего было спрашивать. Старик Строганов готовил себе архитектора. Андрей Воронихин чертил планы, рисовал довольно верно комнаты, плафоны растреллиевского дома, а как-то набросал портрет Ромма; его лицо без улыбки, его длинную блузу, в которой он ходил по утрам и давал им объяснения по математике. Потом Андрей приказал развесить все картины, висевшие в комнате, и обозначил места. Старик не возражал, но и только.

Старик Строганов в эти дни был тревожен.

В Петербург внезапно приехал граф Калиостро. Старик, падкий

на новости, слушал его предсказания и смотрел чудеса, им показываемые. Приехал Калиостро с очень красивой женой. Опыты его по превращению в золото всего, к чему он ни прикоснется, всех потрясали.

Затем он объявил, что собирается строить — ввиду того, что скоро последует конец света — новый ковчег. Он собирался строить ковчег из пробкового дерева для спасения тех людей, которые этого захотят, а значит, и будут этого достойны. Ковчег из пробки, утверждал Калиостро, пристанет к месту где-то поблизости от Базеля.

Строганов давал мудрецу на изыскания крупные деньги, и по всему было видно — собирался в ковчег. Императрица Екатерина восстала и против ковчега, и

против опытов. Она осмеяла прибывшего в Санкт-Петербург спасителя в комедии, в которой вывела его под именем Калифалкжерстона, объединив в этом имени имена всех знаменитых мошенников.

Старик Строганов был этим недоволен. Но тут неожиданно заговорил Ромм. Он оказался яростным приверженцем взглядов императрицы, ее мнения о Калиостро, и, во всяком случае, он вполне одобрял его высылку. Он был ярый враг Калиостро. Проект спасения в пробковом ковчеге рассчитан на слабых. По мнению Ромма, из разновидностей врагов человечества всего опаснее слабые. Старик был поражен этим разговором.

Впрочем, относительно золота, которое добывал Калиостро

без всяких трудов из всех других металлов, например из меди, прикосновением рук превращая их в золото, Строганов тоже был невысокого мнения.

— Здесь чуда нет,— сказал он,— и у меня медь в золото превращается.— Он вспомнил о Кунгуре. Его медь быстро превращалась у него в золото и потом исчезала.

Это круговращение ему надоело.

Сын Павел заботил его. Время теперь стало быстрее, недаром понадобился ковчег. Он попросил Ромма дать ему точное указание, что он намерен делать, как сына воспитывать и скоро ли думает он кончить это воспитание. Как бы время не перегнало.

И Ромм ответил:

— Время никого перегнать не может. Опередить может только раз...

Старику давно уже не нравилось это воспитание. Его споры с сыном все учащались. Они не то чтоб спорили, но почти не говорили друг с другом, тихо, ощерясь, выжидая. Бледное, тонкое лицо Павла было неподвижно.

Старик начинал пугаться сына. Он его не понимал. Мальчик воспитывался без матери — ее дурное поведение, всем известное, вызвавшее толки, ставшее известным императрице, было причиной этого. Он как чумы боялся разговора о чувствах. Поэтому он и нанял воспитателем Ромма.

Ромм сказал ему, что чувство воспитывать не берется, да это

вряд ли и возможно, а берется сопровождать Павла до тех пор, пока не воспитает в нем разума. Разум — закон — справедливость. Так называемые чувства могут воспитать маркизы, а он, Ромм, для этого прост. Он математик, и самое краткое расстояние между двумя точками есть линия прямая.

После предварительного обучения надлежит путешествовать и осмотреть места, с которыми Павел будет связан, наконец, поехать за границу на четыре года...

Старик Строганов был недоволен Павлом и сказал Ромму:

— Мальчик не имеет чувства меры. Как, впрочем, и другие.

Но Ромм, удивленный тем, как побледнел Павел, когда он сказал о рабстве при уходе Аку-

лины, напомнил Павлу: «Катон брал в воины только тех, кто от гнева краснеет. Он не принимал в военное звание тех, кто от гнева бледнеет. Вы сегодня побледнели. Итак, вы не бледнеете от гнева или не будете воевать. Катон это знал: он сам воевал».

Воспитание Павла, по-видимому, кончалось.

Как околдованный, старый Строганов слушал француза с четырехугольным черепом. Потом он, убедясь в необходимости путешествий, сказал, что с ними поедет и Воронихин. Ромм не возражал.

И они отправились в первое путешествие — на Урал.

3

Ямщик гнал. Они неслись по незнакомым местам. Павел сидел, подавшись вперед, неподвижно. Ямщичья гоньба была свирепая. Обвинские кони были горячи без удержу. Андрей Воронихин вдруг сказал ямщику:

— Загонишь.

Ямщик, не оборачиваясь, ответил:

— Не уймутся, толстоногие.

А на вопрос Павла объяснил: он их гонит, чтобы сами унялись, иначе не уймутся.

Ромм равнодушно глядел по сторонам и спросил: почему все деревья отмечены здесь топором? И кучер объяснил неохотно, что это знаки, затесы железные, что так метят здесь железо, руду: где копать.

— Железо железом метить. — И указал кнутом на одну: — Моя засека.

В самом деле, невольная гоньба унялась.

— Теперь смирные,— сказал ямщик.— Здесь руду роют, железо делают.

Они ехали шагом, молча.

Вдруг ямщик запел:

«Ходит царь вкруг Нова-города...».

Павел сидел как завороженный. Так ямщики не пели раньше, до этих мест.

Это был ямщик заводской, с очерских заводов.

Павел на каждом повороте делал движение. Он не мог усидеть, порывался спрыгнуть. И спокойный, молчаливый сидел рядом Андрей Воронихин, родом из здешних мест.

Кони стали.

Очер.

С утра он ходил по Очеру.

Пылали кругом печи, большие и малые.

Он видел руду разных цветов — от бурого до розового, видел, как вместо земли появляется брус железа.

Раз на реке Очер видел он игралище. На телегах, под парусными пологами молчаливый бородач торговал пряниками. Скалистый берег с каменной подушкой был молчалив, как Андрей.

Ночью Андрей Воронихин бродил у реки.

Высокие выступы его привлекали. Земляные валы казались сделанными каким-то мастером. Может быть, это так и было в древности.

Мастеровой здесь занят был чугунным литьем. Он к утру кончал лепить из глины свое зверье: волка, куницу, горностая. Всматриваясь острым и недоверчивым взглядом, он сказал Андрею: «Отойди. Ты мне застишь».

И Андрей отступил. Мастерового звали, как его, также Андреем.

Он заливал чугуном до краев глиняные грубые фигурки, которые разлетались.

— Чугунное литье,— говорил он недоверчиво.

Уже были готовы волк, куница, горностай. Других он не готовил.

Ромм внимательно посмотрел на волка, куницу, горностая.

— Кто это?

Вечером он сказал:

— Вскоре здесь появится разум.

Ночью Павел слушал уральского соловья. Потом он увидел рядом четырехугольную голову Ромма. Ромм тоже не спал, тоже слушал уральского соловья. Потом он сказал Павлу:

— Эти птицы безумны. Разум никогда их не коснется. Они потому и лишают нас сна.

Ромм писал вечером обо всем, что видел, что застал и что признавал необходимым изменить и для чего. Когда они уехали, он взял с собой объемистую тетрадь. В Петербурге он еще трудился над тетрадью и иногда обращался с вопросами к Воронихину и Павлу.

Наконец он отдал старику Строганову большую рукопись, озаглавив ее: «О том, что сде-

лать надлежит и что надлежит утвердить и упразднить». Упразднить, по его мнению, надлежало нравы заводской полиции, утвердить надлежало Андрея как главного испытателя руды, не настаивая на его занятиях гоньбой.

И, наконец, о препятствиях — отдел краткий, который кончался личным письмом старому Строганову. Старик отнесся к тетради внимательно, но сказал, что все сие сообщит заводской полиции для руководства. Перед тем как они поехали в Париж, у них была беседа, и после этого Ромм более ни о чем не говорил.

Ромовское описание осталось лежать на столе.

Павел уезжал на четыре года.

Ромм был уверен, что этого

времени достаточно для того, чтобы достичь разума.

Ромм писал вечером о всем, что видел. У него выросла большая тетрадь. Он написал обо всем, что думал и видел, с тем чтобы Павел ознакомился со своими землями. Да, Павел запомнит Очер. Он запомнит его навсегда.

4

Клуб «Друзей закона» в Париже.

Павел Строганов каждый день к вечеру отправлялся в этот длинный приземистый дом, где собирались граждане. Сегодня собрание клуба «Друзей закона» шло особенно живо. Говорил широколобый адвокат из Араса. Оратор говорил речь о торжест-

ве разума и о том, что права верховного существа охраняются друзьями закона. Павел записывал точно и дал оратору расписаться. Оратор расписался: «Максимилиан Робеспьер». Павел скрепил подписью: «Очер».

Имя гражданина Очера слышали французские якобинцы. Отчего он назвал себя Очером?

Может быть, оттого, что внезапно вспомнил в этом длинном четырехугольном зале очерские здания, где делали железо? Или потому, что был ранний час, как тот, когда они приехали в Очер? Или просто в такой час нужно быть с родным человеком? Воронихин невозмутимо рисовал для памяти здания, лица патриотов, дома не бывал. А он испытывал потребность быть не одному в этот час. И он взял

для этого не имя человека, а имя места — имя близкое, надежное. В этом месте делали железо. И он стал гражданином **Очером.**

— Гражданин Очер! Вы еще любите запах мускуса?

— Я люблю его — это запах новобрачных.

— Гражданин Очер! Забудьте его! Это запах врагов. Попрыскавшись мускусом, они бродят по Парижу и ждут часа. Патриоты прозвали их мускусными, **мюскаденами.**

— Гражданин Ромм, мускус более для меня не существует. Я презираю запах мускуса.

— Гражданин Очер, знаете ли вы, что новый календарь мною закончен? Вы помните, как в Очере вы сказали мне, что дышите впервые? Что, вы ранее

не понимали, что значит дыхание?

— Я помню это, гражданин Ромм.

— Таково первое наслаждение свободой и родиной, гражданин Очер. Новый календарь уже был тогда мною подготовлен в вашем доме наполовину. Какой у нас месяц?

— Гражданин Ромм, у нас месяц сентябрь.

— Я еще до конца декады предложу патриотам принять новый календарь. Сентябрь—октябрь — это виноградный месяц вандемьер. Потом будет туманный месяц — брюмер, а следующий — месяц инея — фример, потом снежный месяц — нивоз, месяц ветра — вантоз, дождя — плювиоз, месяц посева — жерминаль, луговой месяц — прериаль,

цветочный месяц — флореаль, месяц, дающий тепло,— термидор, дающий жатву,— мессидор, дающий плоды,— фрюктидор. Что называлось августом. Вы не расстаетесь, гражданин Очер, с месяцем двуликого Януса — январем. С месяцем Марса — мартом, месяцем Юлия Цезаря — июлем. Готовы ли вы проститься с двуликим Янусом?

— Я уже простился. Презираю двуликого Януса, гражданин Ромм.

5

Старик Строганов написал русскому послу о сыне. Пора было вернуть его. И в самом деле, было пора, можно было даже легко запоздать. Императрица по просьбе кума послала его

быстрого сына в деревню. Лишенный возможности жить в столице, он там жил в деревне тихо и смирно. Между тем шли большие годы.

Екатерина скончалась, император Павел мелькнул, чтобы наполнить мир рассказами.

Настало царствование Александра I.

И в первое же время царствования он послал за Павлом Александровичем Строгановым. Гражданин Очер стал ближайшим сотрудником, советником Александра I в первые годы его царствования. Он был одним из ближайших к нему членов Негласного комитета. И там однажды, в эти первые годы, когда все еще было молодо, незрело, а император еще и не думал о монахах, у которых стал ис-

кать совета и руководства только под конец,— и вот однажды Павел Строганов сказал в Негласном комитете речь, которая многих поразила. Это была горячая речь. Строганов призывал не бояться, не беречься дворян. Он говорил о том, что дворяне не решатся на открытое выступление против императора, что они предпочтут желать зла в тишине.

И Строганов умолял Александра Павловича пренебречь дворянами и опереться на крестьян, крестьян, которые удивят мир своими талантами, ибо, по мнению гражданина Очера, именно таланты крестьян, а не дворян находятся в основе будущей жизни. Следует немедля дать крестьянам свободу. Надо дать почувствовать крестьянам,

сказал Строганов, почувствовать наслаждение свободой и собственностью — и сделать это тотчас.

К концу этого года вдруг заговорят о новых талантах. Нужно запретить распоряжаться крестьянами без земли. Они от земли неотторжимы.

В жизни Строганова — хотя крестьянской свободы, от которой он ждал чудесного роста народных дарований, он не дождался — случилась еще одна пора, когда он снова встал во весь рост, рост гражданина Очера.

И лучшие мысли своего века, и имя родины, и любовь к ней он пронес еще раз, на этот раз в войне, в той народной войне с захватчиком, которого он ненавидел.

Ненавидел двойной ненавис-

тью, кровавой: и за свое время, и за свою родину.

Наполеон напал на русскую землю. Как человек своего времени он поклялся уничтожить завоевателя, стереть его след. Как гражданин Очер, чтобы больше не тревожил слуха, не тревожил звук его имени. Потому что не мог человек, носивший благородное, простое уральское, русское имя Очера, имя северное, горное, простить тому, забыть о том, кто презрел человечество в его благородных надеждах.

А как Павел Александрович Строганов он стал генералом победной русской армии, продолжал вести войну с Наполеоном, добиваясь его уничтожения. Он был человек храбрости, ни перед чем не склоняющейся.

Он воевал с Наполеоном начиная с 1805 года и был на полях больших битв. У русского воспитанника Ромма — последнего монтаньяра — рано началась походная жизнь. У него была ясная цель. Он ненавидел Наполеона. Он странствовал по полям битв, добиваясь упорно одного. Волонтером пошел он в действующую армию. Отныне для него существовала только военная служба...

Он был в Бородинском сражении, в Лейпцигской битве народов, был при покорении Парижа. Наконец, воевал вместе с сыном Александром.

Молодой Александр напоминал ему его собственную молодость. Как военный и только военный — сражался рядом с ним его сын. Победоносный двенад-

цатый год прошел, миновал. Гражданин Очер продолжал войну.

При французском месте Краон шел жестокий бой. Пятнадцать тысяч русского войска под командой генерал-лейтенанта Павла Строганова сражалось против пятидесяти тысяч неприятелей.

Он не видел сына — сын был на левом фланге. Бой кончался.

Пятидесятитысячная армия Наполеона дрогнула перед трижды меньшей русской. Еще мгновение — и победа Краона решила кампанию.

И он стал искать сына. Сыну исполнилось уже девятнадцать лет.

Он хотел сказать ему после боя, что теперь они всегда бу-

дут вместе — молодость прошла, а его начиналась.

Сегодня был бой, которого с Бородина не было в мире. И он искал сына, который должен был быть неподалеку, на самой опушке леса.

Но уже искали его.

Его проводили к месту, где был его сын. И после этого он передал команду сражения, которое кончилось громкой, блистательной победой. Сын его был убит. Нет, он был уничтожен. Шальная граната оторвала ему голову.

Его борьба кончалась, но кончалась победой. Ненавистный Наполеон был сметен с лица земли. И так как война дала

победу, он до конца остался военным.

Гражданин Очер знал все, что нужно.

Он любил, как воевал,— до конца.

(1942)



ГЕНЕРАЛ ДОРОХОВ

Неожиданность не всегда случайна.

Часто она становится методом.

Лучший кавалерист своего времени, Дорохов изучил во время передышек между походами и битвами метод неожиданности. Он читал военные книги и беспрестанно добивался устройства маневров. Самым громким и явным удовольствием бывали для него случаи, когда на этих маневренных битвах противнику удавалась неожиданность и он сам, Дорохов, бывал обойден или отрезан или вдруг нечаянно атакован. Тогда он громко, по-гусарски, смеялся и щипал свои толстые курчавые усы.

Он был известен своей горячностью к воинской справедливости, своей страстностью к военному ремеслу.

Но, готовясь во время маневров ко всяким неожиданностям и случайностям, учась методу использования их, он все же не был готов к той неожиданности, которая приключилась с ним в начале Отечественной войны 1812 года.

Дорохов, командуя авангардом четвертого корпуса первой армии, ожидал приказа. Ждали врага.

Он должен был начать наступление через Неман.

Планомерное отступление четвертого корпуса первой армии должно было уже начаться. Дорохов ждал приказания. Враг наступал через Неман.

И тут произошла неожиданность, предвидеть, предугадать которую оказалось невозможно.

Четвертый корпус уже отступал, а Дорохов повеления отступать не получал. Когда же получил наконец, он уже был отрезан от первой армии и должен был идти на соединение со второй армией, Багратиона.

Куда ни обращался Дорохов, везде его разъезды натыкались на неприятеля. Он был окружен. Места, по которым подвигались части, были захлестнуты, наводнены вражескими отрядами.

Решать приходилось сразу.

Дорохов решил: конница отбивает врага, пехота отступает.

Так началось беспримерное отступление.

Пехота отступала под бой конницы.

Авангард четвертого корпуса состоял из Изюмского гусарского, первого и восемнадцатого егерских, двух казачьих полков и роты легкой кавалерии. Окруженные врагами почти вплотную, они должны были ускользать от врагов и собирать своих. Здесь нужно было знать и чувствовать человека всего, сразу, нужно было военное искусство верности и тонкости музыкальной. От врагов ускользать, врага бить, своих собирать. Дорохов должен был сохранить весь авангард: людей, пушки, обоз.

Уже говорили о его гибели. Друзья еще возражали. Они говорили, что еще Суворов ценил Дорохова и даже повторяли на память суворовские слова о нем: «По всей лучшей возможности, бывал беспрестанно в жестоком

огне, исполнял все приказания в самых опасных местах».

Слова эти Суворов сказал о Дорохове еще при Рымнике. Сможет ли Дорохов теперь преодолеть такие трудности? Ведь ему уже пятьдесят.

Стоит ли вспомнить Рымник?

Кой-кто из людей, верящих только в дела, на которые сами способны, или в дела, которые уже совершились и вполне закончены, уже утверждали, что Дорохов пропал и все с ним погибли и что даже ничего другого и быть не могло.

Он был на Боровской дороге. Один казачий офицер, жадный до новостей, доложил Беннигсену, что Дорохов отрезан и окружен неприятелем, а положение безвыходно. Беннигсен тотчас

дал предписание, которое и должен был дать. Предписание было если не холодное, то все же прохладное. Дорохов должен стараться, сколько возможно, освободиться из столь критического положения, из такой оплошности. Дорохов тотчас велел чинить перо. Писать длинные бумаги и писать их часто он не любил. Но тут вдруг его лоб оказался в поту, и он, крутя и дергая свои толстые седые усы и сильно дыша, написал крупно, но кратко такое письмо:

«Кто под пулею приобретал себе известность в продолжение 27 лет без протекции, с чистою совестью, тому тень пятна на чести его тяжелее смерти». Дорохов писал не о пятне, он писал о тени пятна. И этого было довольно. Он просил исследова-

ния дела и снятия с него несправедливого упрека и обвинения в оплошности.

Страстный к военному ремеслу, он требовал полной справедливости военных оценок, требовал осторожности и точности такой, какую сам соблюдал во время этого отступления. И получил другое письмо от 2 сентября. Письмо от Кутузова.

Кутузов писал о своем полном уважении к его опытности и мужеству. И, затолкав предписание Беннигсена туда, где оно и должно было быть,— в походную сумку, он осторожно положил письмо Кутузова поближе к себе на грудь. Дорохов, который все еще сильно дышал, перевел дух, отдышался и перестал думать о предписании Беннигсена и тому подобном.

Дорохов вел свои отряды девять дней, зорко охраняя пушки и жизнь воинскую. При Воложине начал он сноситься с казачьим атаманом Платовым, который был во второй армии. Отбиваясь и уходя девять дней, он вывел и спас для жизни и воинских трудов один гусарский полк, два егерских, два казачьих полка и роту легкой кавалерии. Потерял он не больше шестидесяти человек.

Он знал коня, знал штык, знал пехотное ружье, но лучше всего знал человека. При этом небывалом отступлении солдаты и некоторые офицеры несли по три, по четыре ружья. Они брали их у отсталых, а верховых лошадей давали под ранцы тех, которые изнемогали, потому что ранцы были тяжелые, под мыш-

ками пот был кровавый. Торопить Дорохова, делать ему указания в это время было не нужно.

В день Бородина Дорохов был с утра послан на помощь Багратиону, которому грозили опасностью усиленные атаки.

Дорохов с двумя гусарскими и двумя драгунскими полками стал удерживать натиск неприятеля, отвечая ему своими удивительными атаками. Одну дороховскую атаку французские кирасиры отбили. Под Дороховым пала лошадь. Вражеские всадники густой толпой переносились через него. Полковой трубач, тут же случившийся, отдал ему своего коня. Молча пожал Дорохов трубачу руку и промчался на его коне стороною. Гусары, поникшие было при виде паде-

ния командира, вдруг оживились, ободрились необыкновенно. Тотчас Дорохов повел их расплатиться сполна с французскими латниками, кирасирами.

За Бородинское сражение Дорохов получил чин генерал-лейтенанта. Кутузов знал Дорохова. Именно Дорохов стал вскоре нужен для дела важного, которому Кутузов придавал большое значение.

Дело было в Верее.

Верея — небольшой древний город в ста семидесяти верстах от Москвы. Быстрая речка Протва, у самого города, крута берегами. Вокруг Вереи курганы. Верея должна была стать точкой опоры партизанских военных дел. Это было место для со-

единения летучих отрядов. Но оно было теперь занято немцами. Вестфальские немцы схватили и связали Верею, как конокрады вяжут, нагружают благородного коня до самых ноздрей, до самых зубов. Вестфальские немцы из кожи лезли вон, чтобы принести пользу и удовольствие французской армии, напавшей на Россию. Быть может, сам император Наполеон потреплет по подбородку вестфальских немцев? Кутузов возложил на Дорохова важное поручение: истребить начисто укрепления неприятеля, сделанные в городе Верее, а самый город очистить от немцев.

Вестфальские немцы занимали Верею. Батальон немцев сделал здесь, в Верее, укрепление, которым гордился, как образцом,

как чудом военной работы. Благодаря немецким укреплениям,— утверждали немцы,— Верея стала неприступной. Они много старались, чтобы неприступность, недосягаемость их укреплений широко и быстро разгласилась, прославилась. Вестфальские немцы надеялись, что это будет оценено теми, кому ведать надлежит. Они обнесли Верею высоким земляным валом в пять саженей и высоким, прочной работы палисадом. Этим была достигнута несокрушимость коммуникаций наполеоновских войск.

И потом — черт возьми!—всем этим вестфальские немцы наслаждались. Верея,— говорили немецкий полковник и два инженерных офицера,— как бы стала из древнего русского горо-

да средневековым немецким замком. Даже палисад их работы с аккуратно выточенными остриями досок напоминал именно нечто подобное.

Коммуникация была неприступна. Отныне Наполеон мог спать спокойно. Во всяком случае сами вестфальские немцы спокойно спали в неприступной Верее. Но если неприступность укреплений была сильно преувеличена немцами, все же дело было трудное.

Поэтому Кутузов и возложил его на Дорохова.

Дорохов выступил.

27 сентября Дорохов был уже в Боровске. Здесь он оставил охранительный отряд и двинулся далее. Другой охранительный отряд для сообщения с армией он выслал на Московскую доро-

гу, которая ведет из Вереи в Купилицы. Третий послал в Митяево, на дорогу из Вереи в Можайск. В Волчанске сказал сложить ранцы.

Ночью переплыли через Протву налегке.

В четыре часа утра были у Вереи.

И Дорохов построил свой отряд.

Отряд построился без всякого шума.

Дорохов сказал отряду:

— Товарищи! Главнокомандующий приказал нам взять Верею. Укрепления города построены на горе. Пять сажен высоты. Обнесены палисадом. Завтра перед рассветом пойдем, а с рассветом возьмем.

Так впервые в этом воинском обращении прозвучало слово:

«Товарищи». Одни обращались: «Молодцы», другие любили обращаться: «Ребята», третьи говорили: «Солдаты». Обращаясь так, командиры говорили прежде всего о самих себе. Командиры сами не были ни солдатами, ни ребятами. Они были молодцами, конечно, но когда хвалят, всегда в этом есть превосходство того, кто хвалит, над тем, которого хвалят. А Дорохов, готовясь к бою, знал место и знал оружие. Но лучше всего знал он людей. Вместе воевали, те же пули грозили всем, в равной мере.

Никогда, воюя, он не был сам по себе, никакого военного дела не делал в одиночку. И сказал свое слово, обращаясь к отряду 28 сентября 1812 года, как товарищ военный.

Уже начало темнеть. И вестфальские немцы засветили огни в городе Верее. Ярко осветилась церковь, где жили полковник и все офицеры.

Дорохов приказал отряду расположиться на отдых.

Тут к отряду близко и бесшумно подошли какие-то четверо во главе с отставным солдатом. Подошли и стали, примыкая к отряду.

Отставной взял на караул по форме.

Дорохов спросил:

— Откуда?

Отставной ответил:

— Из города Вереи, неприятелем занятого, ваше превосходительство.

Дорохов внимательно слушал, смотрел.

Ножи у всех были заткнуты

за веревки, которыми люди были опоясаны; ножи, клинки, откуда-то добытые.

— Говори. Кто?

Отставной отвечал:

— Городские. По положению мещане, ваше превосходительство.

Знаток оружия, знаток людей глядел.

Тут отставной понял, что все надо говорить генералу.

И он сказал, понимая, что должен по-походному прежде всего объяснить генералу оружие, не совсем подходящее,— ножи, заткнутые за пояса, которые были просто веревками.

— Они мужики, ваше превосходительство. У них хлеб отобрали, детей берут, жен берут. Ваше превосходительство, мужики просят приказать им идти

на редут. Они знают. Взбегут, возьмут.

Дорохов спросил их имена.

— Гречишкин, Прокудин, Жуков, Шушукин.

— Дать им штыки.

Он думал об атаке, штурме.

Отошел. Они должны спать.

Все четверо молчали. Ни слова.

Он знал людей, знал штурм. Все четверо молчали. И он решил: штурм ведут они.

Четыре редута, четыре отряда. Штурм ведут эти четверо.

Ранним утром двинулись почти бесшумно.

Дорохов не ошибся. Первое суворовское правило — быстрота. Здесь она была стремительностью.

Такая стремительность бывает, когда мстят.

Месть скорее всего, ярость тише всего.

Второе сентября, половина шестого часа утром.

Четыре прыжка на отвесные валы, почти одновременно.

Штурм ведут четверо. Штурм ведет месть.

Обида на врагов кровавая. Месть верна, как пуля.

Отряд — за ними. За четверыми.

Вначале ни одного крика. Вестфальские немцы спят.

Часовых взяли на штыки.

Врываются на парапет.

Укрепления — пять сажен высоты. Палисады прочной работы.

Полковник, строивший укрепления, и два инженерных офицера жили теперь в церкви. Они были точны. Услышав шум,

выглянули. Дорохов был в городе. Вестфальские немцы награды не получили. Стреляли из церкви, из домов. Триста пятьдесят немцев вестфальских, служивших Наполеону, уничтожены, среди них полковник и инженерные офицеры. Триста семьдесят семь рядовых и пятнадцать офицеров взято в плен. И отбито вестфальское знамя, с таким надменным видом царившее в городе Верее.

И тогда более тысячи вооруженных крестьян явились к Дорохову. Вооруженные серпами, косами, вилами и пятьюстами ружей. И Дорохов приказал им тотчас же исполнить приказ главнокомандующего: «стребить, срыть все вражеские укрепления». До основания срыть. Были в городе у немцев арестанты.

Весь день бродили по городу дороховцы, освобождая, ища, перекликаясь. И наконец был обнаружен и взят самый большой арестант — хлеб. Немцы заперли его, и Верея была без хлеба. Арестованный немцами хлеб был освобожден. И Дорохов выдал его крестьянам, срывшим вражеские укрепления.

Четверо, которые вели штурм, сражались до того времени, когда уже их здесь не стало. Один из них был ранен.

Враги показались было по дороге от Борисова, но, увидев Верею древнюю, русскую, а не вестфальскую и не французскую, не стали дожидаться гоньбы и отступили со всею поспешностью. В одиннадцать часов три батальона и четыре эскадрона французов с несколькими пуш-

ками появились на Можайской дороге. Но, узнав, что верейский отряд вестфальских немцев истреблен, повернули быстро. Легкая кавалерия их преследовала и нанесла значительный урон.

Дорохову послана золотая сабля с алмазами, с надписью: «За освобождение Вереи». Он продолжал воевать.

Кутузов призвал его в свою главную квартиру. В Тарутине он встретил его с почетом. Они разговаривали наедине больше часу.

После разговора Дорохов не медля стал собираться. Он должен был расположиться на новой Калужской дороге, посылать свои разъезды на Смоленскую дорогу. На обоих путях движения наблюдать, следить за неприятелем. Задание было: обере-

гать левое крыло армии. И делать это так, как он умеет. Немцы были точны. Вестфальские немцы в Верее этим величались.

И совсем по-иному был точен Дорохов. Он был по-человечески точен и на этом строил военное свое знание. Никто лучше его не был способен оберегать левое крыло армии. В этом была его сила, постоянная, все растущая. «Тебя похвалил бы Дорохов»,— говорили молодому, который отличился, и все понимали. Верный великой справедливости, Дорохов назвал истинных героев Вереи: четырех мужиков и отставного. Отстаивал и добился награждения их знаками отличия воинского ордена.

Он продолжал воевать.

Он сражался при Малоярославце. При Малоярославце сра-

жение кончилось. И тут настигла его смертельная рана. Она сковала его. Дорохов стал воевать со смертью. Вспомнил Верею, как освобождал ее, вспомнил прохладную Протву, бой на редутах. Распорядился хоронить его в Верее, в церкви, откуда немцы стреляли, где победа началась. Породнился с городом, который освободил, как с человеком. Долго писал письмо своему отныне родному городу, своим новым землякам.

«Если вы слыхали о генерале Дорохове, который освободил ваш город от врага отечества нашего, почтенные соотчичи, я ожидаю от вас за это в воздаяние дать мне три аршина земли для вечного моего успокоения при той церкви, где я взял штурмом укрепление неприятеля, ис-

требив его наголову. За что дети мои будут вам благодарны. Генерал Дорохов».

Наполеоновская армия, как издыхающий удав, после Вереи пружинила еще то тут, то там отдельными кольцами. Бросив Москву, ползли и бежали к Калуге.

Тогда разнесся слух, что генерал Дорохов ранен смертельно. Услышал Кутузов. И Кутузов послал ему сказать, что неприятель бежит, что южная Россия обязана ему, Дорохову, обороной и что, если уж неизбежно, он может умереть спокойно.

Он умер в городе, который освободил, возвратил жизни, родине, отечеству.

И теперь жив Дорохов.

Вестфальские и прочие немцы снова заползли было в любимый им город, с которым он породнился.

Дорохов жив — Верея опять освобождена.

И о тех бойцах, которые искусно ее освободили нынче, старики двенадцатого года сказали бы, как тогда говорили, когда хотели воздать почет военному искусству:

«Их похвалил бы Дорохов!»

(1941—1943)



КРАСНАЯ ШАПКА

Суворов подарил Кульневу свой портрет. Портрет был так мал, что Кульнев вставил его в перстень. С четырех сторон он написал главные суворовские слова, бывшие стратегией и тактикой: «Быстрота. Штыки. Победа. Ура!»

Суворов увидал перстень и сказал прибавить пятое слово: между словом «штыки» и словом «победа» вставить слово «натиск».

«Быстрота. Штыки. Натиск. Победа. Ура!»

Эти слова Кульнев читал посвоему. Всюду он был тих и задумчив. Но в бою его голос становился громовым. «Ура» здесь

было не простой радостью, хоть и громовой. Также и слово «победа» здесь было вовсе не вестью о наступившей победе, но военным кликом, не только встречающим победу, но и создающим ее.

Так **война и победа** стали для Кульнева словами и делами Суворова. Он был связан с Суворовым если не дарованием и военным счастьем,— он сам был к себе строг, был собою недоволен,— то прямо любовью и пристальным вниманием, всегдашним вопросом, обращенным к Суворову: как быть? И что бы он сделал? Как поступил?

Кульнев старался заслужить звание ученика Суворова. Война и победа были для Кульнева словами суворовскими. Сами слова становились командами,

команды — маршем, марш — боем.

«Штыки говорят: наши идут! Скоро будут! Терпение! Пришли, собрались! Бог в помощь! Бодрость! Вперед!»

«Осторожность! Храбрость! Атака! Коли!»

И наконец: «Пощада! Дружба!»

Так создавались его приказы по армиям. Так сложились письма к братьям с фронтов, которые хочешь запомнить. По языку это был как бы Суворов, опять заговоривший: «Голова хвоста не ждет, рота роту выпереживает». «К ретираде, отступлению всегда есть время, а к победе редко».

От суворовской краткой мудрости он взял не только главное — самые слова, самая речь

стала близкой по смыслу и по виду. Сам себя называл он в письмах к брату Дон Кихотом. Был беден. О поведении других, иначе себя ведущих, говорил: «Разве нет у нас в армии таких генералов, которые отличаются одним только шитым воротником и эполетами?» Во всем, о чем он говорил, был уверен. Было много умников, судивших по слухам: у него все было знанием, приобретенным на своем собственном опыте.

Так, без дальних слов, он был храбр и был уверен, что это безопаснее всего. Он писал брату: «Лучший способ к сохранению жизни своей есть храбрость, сопровождаемая присутствием духа. Без чего не спасешь себя, но стыда сделаешь на целый век».

Он рано прославился. Военная слава его была славой прежде всего солдатской. Именно его знали солдаты и любили: он ел с ними те же сухари, что и они, так же, как они, спал на шинели. Они понимали и любили его речь. Верили ему, что бы он ни сказал. И, наконец, поверили в него, поняли, что он ведет к победе.

И слава стала расти. Это была народная слава. Свою славу он понял не как награду, которой можно величаться, а как оружие, которым должно драться. Место его было то же, что и всегда,— при наступлении впереди авангарда, при отступлении позади арьергарда.

Будучи шефом Гродненского гусарского полка, ездил всегда во время решительного сражения в

форменной гусарской фуражке. Фуражка эта была издали видна. Шла финская, на финской земле кампания со шведами, перед нашествием Наполеона. Однажды, объезжая свой полк, он услышал с шумом повторяемое вдали все то же слово, которого не понял. Оказалось — это говорят, потом кричат о нем. Неприятель называл его не по имени. Он звал его Красной Шапкой.

Шел бой. И, крича все громче: «Красная Шапка!» — неприятель ретировался.

Одного его имени, этого восклицания о Красной Шапке, было довольно, чтобы неприятель ретировался. «О, эта Красная Шапка!» — говорили его командиры с досадой.

В этой Красной Шапке был он во время сражения, которым кон-

чилась эта война. Бой с нерешенным исходом, или, как тогда говорили, с нерешительным исходом, длился целый день. Командующий приказал к утру начать отступление. Кульнев, как обычно, ночью объезжал всю цепь. И по неясным, колеблющимся признакам он понял, что неприятель уходит.

Он этого не слышал и не видел. Он почувствовал и догадался. И тотчас стал преследовать неприятеля. Эта тонкая догадливость, это чутье, чувство врага было в нем, как и его горячность, чертою воина и гражданина, поэта и охотника! В войне он сумел полюбить гений Суворова, по-настоящему понять его военное искусство, стать его учеником. «Я живу по-обыкновенному,— писал он брату,— то есть по-донкихот-

ски, и подражаю великому своему Суворову. Пока не имею его счастья, хотя и успел приобрести себе звание ученика этого знаменитого мужа, и считаю себя довольным умереть в величии нищеты».

Любя и зная Суворова, веря в него, он был почитателем и ценителем римского историка Квинта Курция, а в литературе — Сервантеса. Квинт Курций говорил о том, что Рим был велик и силен, пока был нищ. «Дон Кихот» Сервантеса был любимой книгой Кульнева. Прославившись и зная об этом, видя это, он вовсе не стал любить войну. Напротив. Он писал о женщинах, о которых тогда мало думали, а если и думали, то не об их страданиях: «Не только те страждут, кто участвует войной, но и вы, несчаст-

ные, чувствуете бремя ее в разлуке с мужьями своими».

Настало время всенародной Отечественной войны: напал на Россию Наполеон. Между тем именно в это время случилось с ним то, к чему никто и никогда не оставался равнодушен. Он встретил женщину, которая была, конечно, лучше всех. Он обручился с нею. И решил отложить свой брак до окончания войны, до победы. А там должно было наступить счастье.

Историк, занимавшийся изучением военной и гражданской жизни Якова Петровича Кульнева, сожалел — и даже напечатал, что сожалеет,— об одном: имя невесты осталось ему неизвестным. Зато историк нашел письмо са-

мого Кульнева от 20 мая 1812 года.

«Милостивая государыня моя,— писал Кульнев,—в одно время получил я два ваши письма. Они принесли мне величайшее удовольствие и вместе с тем причинили сильнейшую печаль».

И Кульнев выписал из обоих писем, полученных им, самые разительные места. Первое: «Я должна забыть о вас». И Кульнев тут же ответил: «Причина, побудившая вас употребить это выражение, для меня вовсе неизвестна». А дальнейшее, второе разительное место произвело на Кульнева сильное действие. Девица, обрученная с ним, писала в своем письме, что ему, Якову Петровичу Кульневу, остается одно только средство — «выйти в отставку».

Тогда Яков Петрович Кульнев ответил, что, неоднократно слыша от девицы, с которою обручился, уверения в любви, думал, что эта любовь, испытанная или ложная, нимало не относилась ни к его походке, ни к его лицу или другому наружному качеству, но единственно к его делу и славе, которую имел счастье приобрести. И совершенно убедительно прибавил, что если бы женщина любила его искренно, то вместо того, чтобы побуждать его оставить службу, она первая должна была побуждать его не делать этого.

Наконец, он откровенно написал женщине, которая так высоко ценит свою любовь: «Сколь ни сильна любовь моя к вам, но сильнее привязанность к отечеству и клятва, которую я дал сам

себе,— служить до последней капли крови и восторжествовать над всеми чувствованиями, которые питал я к вам, даже над всеми слабостями, свойственными мужчине». И Кульнев принужден был обратиться к той, которую любил и которая, по собственным его словам, его любила, с прямыми словами, кончающими разговоры: «Если отставка есть единственное средство овладеть сердцем вашим, то объявляю торжественно, что освобождаю вас от данного вами слова и что вы свободны располагать чувствованиями вашими к кому вам заблагорассудится».

Все же ему было жаль с нею расставаться. Он опять перечел эти разительные места ее писем, ее предложение выйти в отставку. И наконец взял под подозре-

ние самую любовь ее. Она писала, что каждое удовольствие приведет ему на память те жестокие обстоятельства, при которых он принужден был перестать ее любить. Так сильно и картинно выражалась его невеста.

И он ответил ей сильнее, а главное, короче обо всех этих жестоких обстоятельствах: «На сие выражение скажу только то, что вы меня никогда искренно не любили и что эта театральная любовь может весьма легко кончиться». А во втором письме, которое он получил, она даже приписывала ему какие-то преступления, о которых он впервые услышал. Здесь невеста взяла через край. Он с горечью ответил на это: «Преступление было точно. Оно было в том, что он слишком любил ее сначала и любит

еще поныне». Внезапно, потратив столько красноречия, он вдруг наткнулся на истинную причину обвинений.

«Упреки в преступлениях,— написал он ей,— заставляют меня думать, что вы изыскиваете только предлоги, чтобы отдать ваше сердце другому, хотите сделать это, показывая вид, что вы нашли во мне какие-то преступления, которых никогда не было. Вы хотите казаться совершенно правою и не заслуживающей упрека. Но и для этого не нужно меня обвинять в преступлениях. Чувства ваши зависят единственно от вас. Никого нельзя заставить любить себя».

Так, пораженный этим разительным обвинением в небывалом преступлении, он все увидел. И как в бою угадывал, к чему стре-

мится противник, так теперь, напротив, в любви понял, для чего она обвиняет его в небывалых преступлениях, не называя впрочем их,— и для чего она требует его отставки.

И это перед войной за отечество, конец и исход которой был далек.

И вдруг он понял: хотят от него освободиться, потому что он мешает. Потому он и написал ей, еще не веря себе, что она изыскивает предлоги, чтобы соединиться с другим. «Мимо! Мимо!» — сказал он своей любви, себе. И написал ей, что самая любовь не может никогда отвратить его от сердечных ощущений любви к отечеству и к его должности.

Мимо! Мимо! Важная задача ждала его.

Война тогда называлась просто по имени. Причина ее была ясна. Наполеон напал на Россию.

И Кульнев задумал поймать Наполеона.

Был ли он безумен? Нет, это не было безумием. При начале войны, когда главная армия выступила из Дрисского лагеря, Кульнев должен был определить, какое движение возьмет неприятель. Это было для него дело нелегкое, но привычное. И тогда Гродненский полк, который был в составе его отряда, взял в плен генерала Сен-Жени. Желание пленить Наполеона не было безумным. Он хорошо знал трудности этой задачи и говорил, что ему, Кульневу, живым из этой войны не выйти.

Он не изменил своего правила: быть при наступлении — в аван-

гарде первым, при отступлении — последним в арьергарде.

При Клястицах, неподалеку от места своего рождения, он был смертельно ранен. Не желая, чтобы враги знали, что убили русского генерала, он, ничего не говоря, сорвал с себя орден и отдал его.

Кульнев участвовал за свою боевую жизнь в пятидесяти пяти больших сражениях. Он был человек высокий, широкогрудый. Смерть могла приключиться каждый день. Он должен был решить о ней вопрос. И он решил его. Решая, нашел, что о смерти судят и говорят неверно. Он был славен своей храбростью и любил жизнь. И он нашел, что нельзя судить о смерти воина и гражданина, не говоря и не думая о родине и потомстве.

И в приказе по армии публиковал:

«Герой, служивший отечеству, никогда не умирает и оживает в потомстве».

Яков Петрович Кульнев, имя его, речь, победа его оживают в потомстве всегда, когда отечество нужно защищать, когда, по словам Кульнева, «штыки говорят».

(1942)



ПРОЩАНИЕ

(Отрывок из романа «Пушкин»)

Однажды за Пушкиным пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в Главное полицейское управление и сдал начальнику всей полиции — самому Лаврову.

Впрочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина, собственно, должен был вызвать в Особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот немец был непрост. Вызвал Грибоедова, и тот, придя домой, стал жечь все им написанное когда-либо. К вечеру у Грибоедова стало жарко. Печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело

было слишком ясно для фон Фока.

Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. Пушкин ходил по полицейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами.

— Невелик ростом,— сказал он негромко, удивленный.

Пушкин сдержался.

Лавров был прост — вот что было удивительно. Не чинясь, он показал на большой пузатый шкап и сказал:

— Это все ваше, за нумером.

Шкап был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него. Выходило, что полиция давно была занята им.

Лавров наконец объяснил, для чего здесь Пушкин.

В полицию его привели потому, что никто лучше не знал ни того, что говорилось недозволенного, ни тех, кто это говорил.

— Вот вы нам и станете докладывать,— сказал Лавров.

Пушкин засмеялся. Каков умник! Далеко до него Голицыну. Пусть поучится.

Тут его оставил Лавров, для размышлений.

Он был занят.

Пушкин сидел в полицейском управлении уже долго. И вдруг загрустил. Он ничего не боялся. Полиции — Лаврова — меньше всех.

И все же!

А когда вернулся к себе, уже темнело.

Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак,

поросший волосом, и на арестованного. И арестант этот взгляд понимал. У него были свои привычки. Было особое, полицейское уважение к знаменитым ворам и убийцам. Пушкина он счел преступником крупным, но не пойманным. Тем лучше. Пусть подумает. Время есть!

Спокойствие Федора Толстого стоило страстей. И молодые должны были это признать. А кто не признавал, тот скоро в этом убеждался, волей или неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям. Но и не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями.

Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так:

«В Камчатку послан был, вернулся алеутом.

И крепко на руку нечист».

И про Камчатку было верно, и про алеутов. И, встретив Грибоедова, Федор Толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал: «В картишки на руку нечист»,— не то подумают, что он таскает серебряные ложки со стола.

Это его бесстрастие было более убедительно, чем дуэли.

Федор Толстой терпеть не мог светской уклончивости. Решал он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало. Как все о нем говорят!

Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера и что все разно об этом судят, что не известно, что там было и что с ним в полиции сде-

лали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:

— Выпороли.

У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались!

Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями: «В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами, и все происходит как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает».

К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, рядили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых. Они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?

—

Фон Фок кончал присутственный день в Особой канцелярии.

Фон Фок был доволен днем.

Будучи знаменит, он добился такого дня, когда не был упомянут никем нигде. О Пушкине говорили, что он выпорот, высечен в полиции. Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов более не пишет. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка? Это большой вопрос. Не торопиться. Фон Фок успеет.

Между тем высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений.

Да полно, только ли о высылке шла речь?

Нет. Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного

по заманчивости стихов: Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узду. Просидев десять лет, стал бы он бить поклоны. А на большее неспособен. Пляски словесные навек бы забыл.

Аракчеев полагал крикуна поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно.

Князь Голицын полагал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее.

И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И что еще важнее — единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть?

Чаадаев скачет. И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге,— идет он бешеным шагом ровно.

Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить. Ждать нельзя. Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь, мчится ровно. Сегодня же помчится он обратно. Воинские часы непрерывны. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание!

Чаадаев скачет.

Тонкие конские ноздри дышат глубоко и ровно.

Не упадет конь, не оступится.

Без стиха страна бессловесна, народная память нема. Не изведут Пушкина рабы.

Прискакал Чаадаев, спешился, посмотрел в конские умные глаза. Конь был гордый и на людской взгляд ответил: закинул голову.

Начинали уже привыкать к пушкинскому неблагополучию, к ссылке его, которая не начиналась, к слухам о нем, которые все росли. Привыкали. Приезд Чаадаева все изменил. Точно, Пушкину грозила беда. Время не стало неподвижным. Что грозит? Но ведь что бы ни грозило, было всегда одно: пришла пора спасать — гусары заговорили.

Катерина Андреевна долго ничего не говорила. Чаадаев, как всегда, был спокоен, внимателен. И, конечно, он был прав. Николай Михайлович, как всегда, то-

нок и мудр. Она знала, что завтра предстоит главный разговор. И она решила, что скажет, как всегда, правду и только правду: единственный человек, который может спасти Пушкина,— это Николай Михайлович. Его голос перед государем все решит. Чаадаев прав. Она знала, как трудно это будет. Ну что же, она опять будет хитрить, будет лукавствовать, будет спокойной.

У Николая Михайловича будет свидание с государем скоро. Как трудно говорить об этом! Но не погибать же Пушкину. Конечно, Пушкин безумен, а его эпиграммы тем ужасны, что смешны. И в каждой эпиграмме виден он сам, слышен он сам — оттого и смешны, тем и страшны.

Так все и вышло. Самым важным при встрече оказался простой вопрос: если не крепость, то к кому и куда?

Император вдруг краем губ улыбнулся. Он не склонен был в этот день к грозным явлениям. У Карамзина была милая жена. И когда Карамзин сказал о юге, он вдруг ответил ученому:

— Инзов? Хорошо.

Это странное имя принадлежало главному попечителю колонистов Южного края. Это был юг: Екатеринослав. Императрица Екатерина играла именами. В одной пьесе она назвала авантюриста: Калифалкжерстон. Это был ряд имен многих авантюристов.

Так и это странное имя сочинила императрица.

У великого князя Константина Павловича был сын. Следовало

его назвать так, чтобы все было неясно. Он назван был по-немецки: Константине. Прибавлено окончание: «ов» и вычеркнуто имя. Получилось: Инсов.

Катерина Андреевна ждала мужа с трепетом. Она боялась и за Пушкина и за всю затею, все эти хлопоты, такие непростые. Она почувствовала вину перед мужем. Она была виновата в этих хлопотах. Катерина Андреевна даже заплакала. И когда появился Пушкин, она встретила его спокойно, молчаливо. Он будет говорить сейчас с Николаем Михайловичем.

Николай Михайлович не стал говорить о будущем, которое ему предстоит, ни о его поэме (он еще называл ее поэмкой).

Он был немногословен и просто сказал Пушкину, что он должен

ему обещать исправиться. Обещает ли он? Дает ли обещание?

Пушкин сидел как на иголках. И вдруг сказал:

— Обещаю.

Катерина Андреевна вздохнула с облегчением. Точно гора свалилась с плеч. И вдруг Пушкин прибавил смиренно и точно:

— На два года.

Он обещал — на два года. Катерина Андреевна вдруг засмеялась. Как точен! Хорошо хоть, что на два. Пушкин остался все тем же, собой, и если было бы иначе, как стало бы скучно!

Однако куда же он все-таки поедет? Нельзя же ехать в пустыню без имени, без названья, без воспоминанья.

Он едет в Крым. Что же это такое? Каков Крым? Она ничего об этом не знала.

И, стоя у новых книг Николая Михайловича, которые ему посылали из лавки, она стала привычной рукой перелистывать одну за другой эти книги.

Пушкин должен знать, куда он едет.

И вдруг она остановилась. Из лавки прислали описание Черного моря и местностей близлежащих, сделанное в Париже по приказу Наполеона. Виды Крыма, видно, необычайно занимали императора. Книга была не нова, но роскошна. На больших листах художник живо изобразил удивительные места. С отвесной скалы спускалась девушка в длинной одежде и несла на плече стройный кувшин. Горец сверху следил за ней...

Катерина Андреевна прочла название места: «Эрзерум».

Катерина Андреевна посмотрела на Пушкина. Он внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал ей:

— Этого я не забуду.

Катерина Андреевна с удовлетворением убедилась, что Пушкин и впрямь не забудет. И что ее занятия с ним по географии не менее важны, чем ее занятия с Николаем Михайловичем по истории.

Предпоследнюю ночь он был у Никиты Всеволожского. Без гусаров прощанья с жизнью, которая должна была измениться — пусть на два года, по его словам,— прощанья не было.

Нужно было проститься по-настоящему. Никита Всеволожский был человек, понимающий раз-

меры всему. Прощаться с Пушкиным нужно было с умом и полетом. Не расчетливым же, не скупым же быть!

К утру штосс разгорелся. Всеволожский был крепок, как молодой дуб.

Никита Всеволожский был крупный игрок.

— Веньтэн? — спросил он.

Играли быстро, ставили крупно.

— Веньтэн врет,— сказал Никита,— верней штосс. Идет?

Деньги он подбрасывал — они звенели.

Наконец он взял разом целую кучку.

— Желай мне здравия, калмык,— сказал Никита.

Маленький калмык стоял за столом, разливал вино. Пробка хлопнула. Калмык поднял бокал.

Пушкин закусил губу.

Все деньги были проиграны.

Он взял свой новый том — рукопись в переплете; он все подготовил к печати.

Наконец игра выяснилась как нельзя более, его долг — тоже.

— Сколько? — спросил он.

— Сочтемся,— сказал Никита.— Штосс твой.

Тогда Пушкин взял свой том и поставил его на стол боком.

— За мной старого больше. Все вместе. Ставлю.

Никита стал метать.

— Не ставь на червонную,— сказал он Пушкину,— твоя дама не та.

Пушкин заинтересовался необыкновенно.

— А моя какая? — спросил он Никиту.— Не бубновая же.

— Ты не можешь этого знать,—

сказал Всеволожский.— Может, и бубновая. Она...

Пушкин вдруг перестал смеяться.

Он был суеверен и роскошен, Всеволожский. Выражался он всегда с роскошью, бубнового валета звал бубенным хлапом.

— Хлапа в игре не считаю.

Хлапа не считал, но и на него выигрывал.

К утру Никита бил все карты с оника.

Том пушкинских рукописей он отложил с некоторым уважением.

Пушкин шел домой пешком.

Ночь была ясней, чем день.

Его шаги звучали.

Он снял шляпу и низко поклонился.

Кому? Никого не было видно.

Петербургу.

Он уезжал на юг.

Здесь Нева катилась ровно, царственно. Как всегда. Как катилась, может быть, при Петре, как будет катиться при внуках.

Он уезжал завтра на юг, незнакомый.

Он поклонился Петербургу, как кланяются только человеку. Постоял, скинул шляпу. Всмотрелся.

И повернул...

Его выслали по срочному приказу.

Не исполнился хитрый план быстрого, бесчестного Голицына — он был выслан не прочь из России, не в Испанию, не туда, подальше, а в Россию; родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далекие страны как русский. А здесь он с глазу

на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля, родная держава.

Настоящим счастьем было, что руководил его высылкой не поэт, а генерал великого двенадцатого года, который вовсе не обособлял военного дела от семьи, от родства, а стало — от будущего. Он много в этот год думал об истории всех мест, по которым проезжал, не было, не могло быть немых мест, речь их была точна. Он был выслан на точную речь. Точен, как математика, был стих. И здесь была еще одна проклятая загвоздка: не верили. Чем точнее был стих, чем вернее и правдивее было то, о чем он рассказывал, он знал: не будут верить. Неве-

роятно — скажут. Вся родная держава вызывала недоверие. Излишне было доказывать. Точность полицейского протокола не спасала. Следовало подчиниться.

И он подчинился. Более того, нужно было этим законом воспользоваться, можно было писать подлинною кровью, писать о том и о той, писать то и так, как захочешь написать перед смертью. Словом, цензура для него не существовала. Не полицейская цензура, ее он знал и власть ее испытал, она его выгнала из столицы, эта цензура, а другая, страшная цензура — цензура собственного сердца и милых друзей. Он стал писать элегию так, как будто она была последними его стихами, последними словами.

Жизнь двигалась, как могла и должна была. Николай Раевский был истинным, настоящим товарищем. Он был гусаром и понимал поэзию — не торопил ее.

Шел Крым, важное и запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кафу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышный и явный в Кафе. Темнота и теплота были весомы и зримы. Мимо крымских берегов поехали в Юрзуф, где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали «Русалкой», он и писал элегию.

Ночь здесь падала весомо и зримо.

Он видел крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые

лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их.

Берега шли близко — и он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна, смотрела вместе с ним, и как он не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там.

Он все вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, невдалеке от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда и как это осталось с ним навсегда. Теперь, ночью, под звездами, крупными и осязаемыми, не в силах более унять это видение, на которое был обречен навсегда, он

здесь пал на колени перед нею.

Имя Катерины Андреевны никто не потревожит; спросят годы его безумной любви, и, точно узнав, что она была вдвое старше его, махнут рукой, особенно, если это будет женский вопрос,— в вопросе о годах они неумолимы. Красота? Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна — скромность ее души уже давно непонятна. Она не имеет портретов.

Так началась его высылка.

Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием.

Он знал, что — слава богу! — никто ни слова о ней не скажет. Слава богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка, с детскими сле-

зами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая, детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви?

Все это и была она.

Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила. Она их понимала, знала весь их ход, несбывшиеся, забытые им потом намерения. И смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством.

Он писал эту элегию как последнее, что предстояло сказать.

Ничего другого он не скажет.

Ни о ком другом, ни о чем другом.

И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду,

спокойствие Катерины Андреевны было нерушимо. Все же он напишет Левушке, чтоб послал печатать без подписи. В поэзии, как в бою, не нужно имя.

Он знал: когда будет писать о ней, свидетелем всегда будет ночная мгла или, как теперь,— угрюмое море. И эта его любовь, которую излечить было невозможно, которая была с ним всегда, напоминала только рану, рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешит его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана занывает.

Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стих.

...Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто
не излечило...

Недаром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, именно здесь, зачинался лицей. Много южнее мест его высылки, когда он еще ходить не умел, до лицея, служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых и ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать трактат об уничтожении рабства.

И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеной вперед!

Да здравствует лицей!

И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. Как проклятый,

не смея назвать ее имени, плыл он, полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло.

(1941—1943)

Комментарии

ГРАЖДАНИН ОЧЕР

Подготовительные материалы к рассказу были собраны Ю. Н. Тыняновым в 1920—1930 годах в Ленинграде, задолго до начала работы над ним в Перми. Рассказ остался незавершенным. Среди пермских рукописей и набросков, переданных в 1963 году женой писателя Е. А. Тыняновой в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР в Москве, оказалось несколько малоразборчивых черновых вариантов рассказа. Один из этих вариантов был опубликован Н. Л. Степановым в альманахе «Прометей» (М., 1966. № 1. С. 258—266). По этому изданию приводятся здесь основной текст рассказа и пушкинские строки, цитируемые в нем.

Вместе с тем при новой публикации рассказа в его тексте сделаны уточнения редакционного характера, внесены некоторые изменения и дополнения на основе изучения всех сохранившихся черновых вариантов. Сопоставлены не только автографы писателя, но и вставки, сделанные рукою Е. А. Тыняновой, нередко писавшей в Перми под диктовку Юрия Николаевича.

В частности, несколько изменена композиция рассказа, ставшая более логичной и стройной. Помогли этому наброски планов

рассказа, обнаруженные на оборотной стороне листов черновой рукописи. Отметим здесь лишь те сцены, которые есть в рукописи, но которых почему-то не оказалось в первой публикации рассказа. Прежде чем появиться в рассказе Ромму, в плане предшествовали другие сцены: «Учитель. Иван IV. Ермак» (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 53, л. 25, об.). Куда же делись эти сцены? Они сохранились в других вариантах рассказа и вставлены теперь на предполагаемое планом место.

С. 24. *Гражданин Очер* — название рассказа в черновой рукописи начертано рукою Е. А. Тыняновой.

С. 26. *И она перешла из «табакерки» в янтарную комнату.*— Строка вставлена из тыняновских черновых рукописей. Она дает представление о месте, где происходила сцена. Это был Екатерининский дворец в Царском Селе.

С. 26. *Строгановы судились по особым законам...*— См. комментарий к с. 35.

С. 26. *Александр Сергеевич Строганов...*— Этот и последующий абзацы взяты из тыняновских рукописей. Вставки были внесены рукою Е. А. Тыняновой на обороте четвертого листа черновой рукописи рассказа. Публикуются впервые.

С. 27а. *И она ушла так же тихо, как пришла.*— Абзац уточнен и дополнен по черновым рукописям. В тыняновском плане рассказа, который уже цитировался, есть и более определенные строки об уральском происхождении архитектора Воронихина.

Там сказано: «Воронихин, план отца — Казанский собор... Мать — пермская». Таким образом, Тынянов разделял мнение ряда историков о рождении Андрея Воронихина от крепостной Строгановых.

С. 30. *Воспитание Павла, по-видимому, кончалось.*— Отсюда и до конца этой главки вставка взята из черновиков. В ней заключен логический мостик для перехода к следующей главке (ЦГАЛИ, там же, л. 6). Публикуется впервые.

С. 31. *Очер.*— Среди выписок, посвященных заводскому селению и реке Очер, Ю. Н. Тынянов сделал и такую: «Очер — река чуди». Далее выписка о чудском дереве, скульптуры из которого якобы оживают (ЦГАЛИ, там же, л. 28, 29).

С. 35. *...Пренебречь дворянами и опереться на крестьян...*— Здесь Тынянов лишь обозначил антикрепостнический мотив в поведении Павла Строганова при дворе. Но ведь за этим мотивом последовали и некоторые действия. Используя давнее право Строгановых вести свое хозяйство, суд и управление крепостными по своим особым законам, Павел Александрович пытался, не дожидаясь освобождения всех крестьян России от крепостной зависимости, ввести в своей уральской вотчине более просвещенные и разумные порядки, шире использовать элементы самоуправления подданных своей жизнью. Для этой цели в консультанты были привлечены такие прогрессивные российские умы, как профессор Царскосельского лицея А. П. Куницын, знамени-

тый реформатор М. М. Сперанский. Так в строгановском вотчинном законодательстве появились «Устав судебный» и «Экономический устав», обобщенное «Положение об управлении Пермским имением». Но завершающая редакция этих важных юридических документов проводилась уже после смерти Павла Строганова и восстания декабристов. Все это, конечно, не могло не повлиять на их характер, ставший более умеренным по сравнению с тем, как их задумывали еще Жильбер Ромм и «якобинец» Павел Строганов. (Подробнее об этом см.: Александр Никитин. И встретил нас Куницын: Пушкин и Куницын по новым уральским находкам.— Прометей. 1987. № 14. С. 238—251.— *Прим. ред.*).

ГЕНЕРАЛ ДОРОХОВ

Рассказ вырос из небольшого исторического эпизода, описанного Ю. Н. Тыняновым еще до приезда на Урал. Первый набросок под названием «Дорохов. Герой Отечественной войны 1812 года» был опубликован в «Литературной газете» 17 сентября 1941 года, потом в ярославской областной газете «Северный рабочий» 1 ноября 1941 года. В том же году этот набросок был напечатан в журнале «Огонек» (№ 29, с. 7). В Перми Тынянову пришлось немало поработать, чтобы суховатый еще набросок стал полновесным, интересным рассказом и уже под заголовком «Генерал Дорохов» был опуб-

ликован сначала в пермском альманахе «Прикамье» (1942. № 4. С. 3—9), а потом в журнале «Знамя» (1943. № 4. С. 143—148).

В основу новой публикации рассказа в сборнике положен стилистически более чистый последний журнальный текст, который уточнен и дополнен по сохранившимся автографам, выпискам из документов, сделанным писателем. Выписки говорят о довольно широком круге печатных источников, которыми пользовался Тынянов. Кроме энциклопедий и справочников, это многотомное сочинение С. Ушакова «Деяния российских полководцев», альбом «Военная галерея Зимнего дворца», журнал «Русский вестник» за 1815 год и другие издания. Пользовался писатель и современными сочинениями. Например, монография Е. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», изданная в Москве в 1938 году, была в Перми настольной книгой Тынянова. На ней сохранился его автограф. (Эта книга теперь тоже в ЦГАЛИ.)

С. 38. *Он был известен...* — В романе «Пушкин» Ю. Н. Тынянов упоминает о герое этого рассказа, описывая лицейский рукописный словарь Кюхельбекера от А до Я. Под буквой Д туда была занесена фамилия Дорохова с его кратким жизнеописанием. (См.: Тынянов Ю. Н. Пушкин. М., 1984. С. 306.)

С. 38. *Враг наступал через Неман.* — Строка восстановлена по оригиналу (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 51, л. 31).

С. 44. *Шушукин* — правильное написание этой фамилии, искаженное в «Знамени», установлено по историческим источникам и первоначальным наброскам Тынянова (ЦГАЛИ, там же, л. 29).

С. 46. *...смертельная рана.*— В собранных Ю. Н. Тыняновым материалах и его черновиках ранение Дорохова пулею в пятку описано более подробно. Даже его рана напоминала ту, от которой умер легендарный древнегреческий герой Ахиллес, воспетый Гомером. Чтобы добиться лаконичности, Тынянов опустил эти подробности.

С. 47. *Он умер в городе, который освободил...*— Здесь допущена неточность на последнем этапе редакторской работы над рукописью рассказа. Дело в том, что Дорохов умер не в 1812 году в Верее, а спустя почти три года в Туле, где находился на излечении. Похоронен был генерал Дорохов, согласно его завещанию, в Рождественском соборе Вереи.

С. 47. *Верея опять освобождена.*— Красная Армия освободила этот город от немецко-фашистских захватчиков 19 января 1942 года.

КРАСНАЯ ШАПКА

Впервые опубликован в пермском альманахе «Прикамье» (1942, № 5, с. 3—6), вышедшем тиражом пять тысяч экземпляров и давно ставшем библиографической редкостью. Как и два предыдущих рассказа,

не входил в собрания сочинений Ю. Н. Тынянова. Все три рассказа остаются мало известными до сих пор.

Основными источниками для создания рассказа о Кульневе послужили почти те же материалы, что и для рассказа «Генерал Дорохов». Среди других источников можно назвать «Военные записки» Дениса Давыдова, весьма заметные по содержанию самого рассказа. Однако Ю. Н. Тынянов почему-то не указал в выписках об их использовании. Почему? Скорее всего потому, что выписывать из Давыдова, как и из Тарле, не было особой необходимости. Переизданные в 1940 году записки Дениса Давыдова тоже могли быть настольной книгой писателя в Перми.

При публикации рассказа «Красная Шапка» текст его сверен по частично сохранившимся рукописям и наброскам, исправлены замеченные ошибки и опечатки.

С. 49. *Разве нет у нас в армии таких генералов...*— В архиве Тынянова сохранилась выписка из письма Кульнева, где точно указаны место и время его отправления: Або, 1 октября 1808 года (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 52, л. 55).

С. 53. *И вдруг он понял...*— Среди подготовительных материалов к рассказу сохранилось сделанное, видимо, для памяти замечание Тынянова: «Последствия вполне оправдали мнения: г-жа N вышла замуж за другого» (ЦГАЛИ, там же, л. 58, об.).

ПРОЩАНИЕ

Живя в Перми, Ю. Н. Тынянов продолжал работать над третьей частью романа «Пушкин». Документальные свидетельства тому мы находим в писательском архиве последних лет. Сохранились, в частности, машинописные копии более ранних глав и типографская верстка журнала «Знамя», где третья часть романа была напечатана в 1943 году (№ 7—8). Но еще до этой публикации Тынянов подготовил в Перми отрывок, куда вошли совершенно новые, заключающие нынс роман сцены и главы. Писатель дал им общее название «Прощание» и передал в журнал «Огонек». Из 27 страниц, отобранных тогда Тыняновым, там напечатали примерно треть, сократив остальнос. Таким образом, получился не отрывок, а скорее отрывки из романа, иллюстрированные художником Н. Кузьминым.

Что же именно отобрал Тынянов? Что посчитал лучшим? Наконец, какие сцены романа занимали его тогда больше всего? Ответить на эти вопросы помогли, как ни странно, черновики другой рукописи — «Гражданин Очер». На ее листах сохранились два дополняющих друг друга плана последних глав «Пушкина». Сцены эти легко угадываются: «Оленька Массон. Семенова. Лавров. Толстой. Болезнь... Фотий: Соловки. Ф. Фок. Голицын — в Испанию» (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 53, л. 19, об.). И тут же внизу стоит дата: «1.XI.42». Она говорит о том, что Ю. Н. Тынянов писал

рассказ «Гражданин Очер» и отрабатывал последние сцены романа «Пушкин» в одно и то же время, находясь уже в стенах пермского эвакогоспиталя. Наверное, в это же самое время — поздней осенью сорок второго — и начал формироваться отрывок «Прощание».

В настоящем сборнике «Прощание» печатается по тексту журнала «Огонек» (1943. № 25—26. С. 11—12), но с уточнением и частичным восстановлением ряда мест, в том числе завершающей главки так и оставшегося незавершенным романа.

С. 56. *Фон Фок* — М. Я. Фон Фок был управляющим тайной политической полицией.

С. 57. *Федор Толстой* — отставной офицер, прозванный «Американцем», после кругосветного плавания был вызван Пушкиным на дуэль за описываемую здесь клевету. Но дуэль не состоялась. Противников помирили, и их отношения впоследствии стали приятельскими.

С. 58. *Фотий* — архимандрит, в миру П. Н. Спасский.

С. 59. *Князь Голицын* — реакционер и мистик А. Н. Голицын, основатель Библейского общества в России. Эта строка, пропущенная в отрывке, восстановлена по современному каноническому тексту романа. Она означает, что Пушкина хотели сослать в Испанию потому, что там как раз в 1820 году вспыхнула революция. Без этой строки читателю был непонятен смысл более раннего упоминания Голицына в отрывке.

С. 60. *Инзов* — генерал Иван Никитич Инзов был управителем колонистов южного края России. Сначала его резиденция находилась в Екатеринославе, куда и был сослан Пушкин. В 1820 году Инзов был назначен наместником в Бессарабию. Туда потом и последовал к Инзову в Кишинев ссыльный Пушкин.

С. 61. *...называл ее поэмкой.* — Речь идет о впервые издававшейся в 1820 году пушкинской поэме «Руслан и Людмила».

С. 62. *Никита Всеволожский* — меценат и театрал, в доме которого Пушкин участвовал в заседании полулегального общества «Зеленая лампа». Всеволожские были владельцами ряда уральских, в том числе пожвинских, заводов в Пермской губернии. (См.: Никитин А. Г. Пушкин и Урал. Пермь, 1984. С. 80—85.— *Прим. ред.*).

С. 64. *...генерал великого двенадцатого года...* — Речь идет о генерале Раевском, который вместе с семьей путешествовал в 1820 году на юг России. С Раевскими Пушкин совершил поездку из Екатеринослава в Крым.

С. 65. *...самолюбивое имя Феодосии.* — В переводе с греческого Феодосия означает «божий дар».

С. 65. *...писать элегию...* — Элегию «Погасло дневное светило...» и другие стихотворения.

С. 65. *Имя Катерины Андреевны никто не потревожит...* — Гипотезу Тынянова об «утаенной» юношеской любви Пушкина к Карамзиной некоторые ученые встретили

настороженно. Однако это не помешало Тынянову опубликовать в 1939 году любопытнейший лирико-психологический очерк «Безымянная любовь». Об этом очерке он вспоминал в Перми, склоняясь над новыми страницами романа «Пушкин». И не просто вспоминал, но и продолжал развивать этот мотив в романе. В Перми на черновике рассказа «Гражданин Очер» Тынянов даже составил план своей будущей книги статей, которая должна была открываться очерком о юношеской любви Пушкина к Карамзиной. Вот этот план, который действительно может стать интересной книгой и логически дополнить собою наше издание: «Утаенная любовь» Кхбр (Кюхельбекер) Прокопий Ляпунов. Пушкин и Кхбр (Кюхельбекер) (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, д. 53, л. 26). Публикуется впервые.

* * *

Автор вступительного очерка и комментариев благодарит за консультацию по составлению настоящего сборника дочь писателя Инну Юрьевну Тынянову.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

**Юрий Николаевич
Тынянов**

ГРАЖДАНИН ОЧЕР

Уральское наследие

Редактор *Н. Гашева*
Художественный редактор
С. Можаева
Технический редактор *В. Чувашов*
Корректоры *Г. Борсук, З. Селюк*

ИБ № 1902
Сдано в набор 05.06.89. Подписано в печать 30.01.90. ЛБ08138. Формат $70\times84^1/_{64}$. Бум. мелов. Гарнитура Обыкн. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 2,86. Усл. кр.-отт. 6,0. Уч.-изд. л. 3,635. Тираж 5000 экз. Заказ № 8623. Цена 3 р. 20 к.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30.
Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

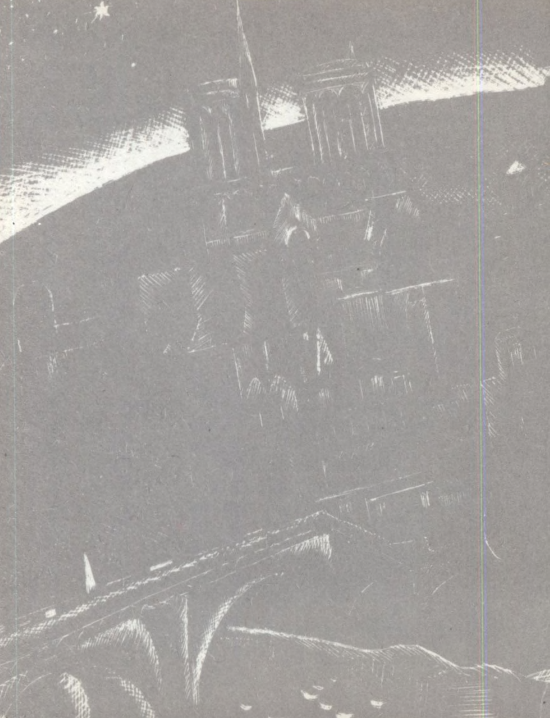
Тынянов Ю. Н.

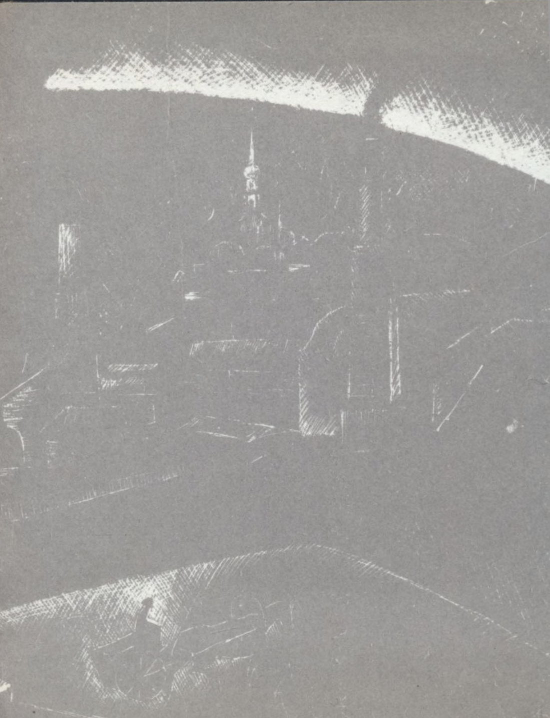
Т93 Гражданин Очер: Уральское наследие.— Пермь: Кн. изд-во, 1990.—164 с.

ISBN 5-7625-0205-8

В книге впервые собраны вместе последние рассказы Ю. Н. Тынянова, а также отрывок из романа «Пушкин». Над этими произведениями писатель работал в Перми в 1941—1943 годах.

Т $\frac{4804010200-26}{М152(30)-90}$ 59—90 ББК 84Р7—4






8 д. 20 к.